Соломон Перел

ГИТЛЕРЮНГЕ СОЛОМОН

ЧЕЙСОВСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ozon.ru

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

На страницах книги Соломона Перела оживают трагические эпизоды Второй мировой войны. Более 40 лет ждал автор, чтобы поведать свою историю читателям. Молодой человек, вынужденный по воле обстоятельств скрывать свое истинное происхождение, следует заповеди своей матери: «Ты должен жить!» Он проходит множество физических и моральных испытаний для того, чтобы выстоять. Книга посвящена жертвам Холокоста и является уникальным свидетельством эпохи.

- Соломон Перел
  - ○
  - ○
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6
  - ○ 7
  - ○ 8
  - ○ 9
  - ○ 10
  - ○ 11
  - ○ 12
  - ○ 13
  - ○ 14
  - ○ 15
  - ○ 16
  - ○ 17
  - ○ 18
  - ○ 19
  - ○ 20
  - ○ 21
  - ○ 22
  - ○ 23
  - ○ 24
  - ○ 25
  - ○ 26
  - ○ 27
  - ○ 28

- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35

Соломон Перел
Гитлерюнге Соломон

Я посвящаю эту книгу памяти моей матери Ревекки, моего отца Израэля и сестры Берты, жертв Холокоста. А также памяти моего брата Исаака, который умер еще до того, как эта книга увидела свет.

Последнее время меня часто спрашивают, почему я до сих пор не поделился своей историей с общественностью. К сожалению, до сих пор я не могу дать на это внятный ответ, который мог бы удовлетворить вас, читатель.

Скорее всего, дело в том, что о трагических событиях, описанных в этой книге, я просто не хотел вспоминать. Наоборот, я заставлял себя их забыть, пытался отодвинуть подальше. Серые будни позаботились о том, чтобы эту тему я отложил в долгий ящик, чтобы мне некогда было серьезно задуматься над тем, что же со мной произошло. Наверное, просто не сразу пришло время…

Как только я чувствовал необходимость рассказать о своих приключениях, как тут же меня что-то останавливало. Есть ли у меня право сравнивать себя с теми, кто пережил Холокост, ставить себя рядом с ними?

Есть ли у меня право сравнивать себя с борцами движения Сопротивления, с узниками концентрационных лагерей и гетто, с теми, кто прятался от фашистов в лесах, бункерах и монастырях? Они были героями.

Их страдания дошли до того предела, дальше которого человеку просто не вынести. И все-таки они сохранили свою принадлежность к еврейскому народу и человеческое лицо. А я в это время незаметно жил среди нацистов, носил их униформу, железный крест на фуражке, кричал вместе с ними «Хайль Гитлер!», как будто и вправду верил в бесчеловечную теорию и варварские цели фашизма.

Нужен ли кому-то мой рассказ? Поверят ли люди моей истории? Попробуют ли ее понять?

Решился я все рассказать, когда задал себе вопрос: «Могу ли я вынести жизнь один на один с угрызениями совести и сомнениями?»

Более сорока лет я размышлял над этим вопросом. И

однажды понял, что иного выхода нет. Надо все рассказать. Душевная рана, о которой я старался не думать, не дает мне дальше жить спокойно. Я не мог и не хотел жить дальше один на один со своей памятью. Чтобы освободиться от этого груза, я должен был описать все, что со мной произошло, — кровью сердца, в прямом смысле этого слова.

К тому же я обещал себе придерживаться правды от начала и до конца. Сомнения отброшены, и моя рука может наконец взяться за перо.

Я родился 21 апреля 1925 года в городке Пайне, что неподалеку от Брауншвейга в Германии. Мои родители переехали сюда в 1918 году, когда в России свершилась Октябрьская революция.

В это время евреев в Веймарской республике[1] принимали с удовольствием. У моих родителей было четверо детей. Когда я родился, моему старшему брату Исааку было 16 лет, Давиду — 12, а моей сестре Берте — 9.

Вскоре по приезде мои родители открыли обувной магазин на Брейтенштрассе, главной магистрали города, который кормил нашу семью. В то время наши немецкие соседи не были настроены к нам враждебно. А вот евреи, давно в Германии осевшие, жившие здесь поколениями, встречали нас холодно. Мы были для них всего лишь бедными восточными евреями. То и дело дома обсуждались эти вопросы. Мне все это, однако, никогда не мешало. В то время я не видел разницы даже между евреем и не евреем, и уж тем более — между евреем восточным и западным…

Пайне не был современным городом, однако и здесь становился заметен технический прогресс. Я хорошо помню, с каким восторгом мы, дети, встречали первые автомобили. Они были похожи на повозки без лошади, рядом с рулем красовались огромные клаксоны. Мы бежали за ними и старались нажать на «черную грушу», чтобы она дала сигнал. Тогда ни одно облачко не затеняло счастливое небо моего детства. Ничто не предвещало нам будущего, полного трагических событий. И все-таки это темное время наступило, разрушив до основания всю нашу жизнь. Пятьдесят миллионов людей погибло в этой страшной войне, которая началась с планомерного уничтожения евреев, живших в Европе.

30 января 1933 года к власти в Германии пришла национал-социалистическая партия под предводительством Адольфа Гитлера. Началась черно-коричневая «пляска смерти» — черная и коричневая, как форма нацистов, и кроваво-красная — как

треугольная эмблема СС, СА и гитлерюгенда.

Штурмовое подразделение СА было создано в 1921 году. В его обязанности входила, помимо прочего, охрана мероприятий, проводимых национал-социалистической партией, которую Гитлер укрепил и расширил, а также устраивать беспорядки, разгонять собрания других партий и охранять нацистские собрания. В СА вступали преимущественно бывшие солдаты, мужчины, которые не могли адаптироваться в нормальном обществе. Им не давала покоя проигранная Первая мировая война. Эти люди сеяли страх и ужас, внося, таким образом, свой вклад в «демократию» Веймарской республики. После того как Гитлер и его сподвижники укрепились во власти, они передали СА всю грязную работу — преследования и ликвидацию противников режима и евреев.

Отряды СС, созданные в 1925 году, формально подчинялись СА. В действительности же они существовали самостоятельно в качестве личной гвардии Гитлера. В 1934 году они уже официально подчинялись только фюреру. Во главе их стоял Гиммлер. Его аппарат власти включал в себя тайную государственную полицию, гестапо, службу безопасности СД. Последняя ведала концлагерями и карательными отрядами, которые действовали на оккупированных территориях и убивали там стариков, женщин и детей.

Гитлерюгенд, молодежная организация НСДАП, был создан в 1926 году. Его члены принимали активное участие в уличных драках, демонстрациях и других акциях террора. В элиту гитлерюгенда набирали высокорослых юношей нордической внешности и чистой арийской крови.

Жизнь в Пайне продолжалась, хотя положение ухудшалось с каждым днем. Но нас, детей, это мало тревожило. Ничто не могло помешать нашим играм и беготне по городу. Я не был еще достаточно зрелым, чтобы оценить подстерегающую нас опасность, тем более что отец предполагал, как и многие, что «этот сумасшедший» не продержится дольше восьмидесяти дней. Предостережения со стороны немногих тонули как глас вопиющего в пустыне.

Спустя два года я ощутил расовые преследования на собственной шкуре. Во исполнение нюрнбергских расовых законов[2] от 1935 года меня исключили из школы. Повседневная жизнь становилась все тяжелее и опаснее. Много раз мой отец привлекался к унизительным работам вроде подметания улиц и вывоза мусора. СА громили еврейские магазины, били витрины и обвиняли нас во всех грехах. Удавка террора затягивалась все

сильнее. Мы решили бежать из Германии.

Большую часть нашего имущества нам пришлось в спешке распродать за бесценок. Почти без средств мы эмигрировали в Польшу и остановились в Лодзи. Первое пристанище нам предложила тетя Клара Ваксманн, младшая сестра моей матери.

Приспособиться к жизни в новой стране было непросто. Не только язык, но и образ мышления местных жителей сильно отличался от того, к чему мы привыкли. Мне просто не удавалось примириться с изменением обстановки. Меня мучила тоска по Германии. Я был потрясен этой внезапной и ужасной переменой.

Я стал ребенком-эмигрантом и на себе испытал, насколько местные жители не испытывали к нам симпатий. Открытые насмешки местных еврейских детей над «немчурой за чашкой кофе» доставляли мне боль, заставляли замыкаться в себе. Я не мог защитить себя, не мог справиться с таким экзаменом на привыкание.

И все-таки жизнь продолжалась, сильное напряжение в конце концов исчезло. Большую роль сыграло и то, что я снова мог ходить в школу. Я вынужден был учиться и с удивительной скоростью выучил новый для меня польский язык.

Постепенно жизнь на новом месте стала налаживаться. Благодаря изучению польской истории, рассказам о великих правителях, которые боролись против раздела страны и господства иностранцев, Польша становилась для меня все симпатичнее. У меня стало появляться чувство, что она может стать моей второй родиной.

Прошло три года… 1938-39 учебный год подходил к концу. Я успешно закончил школу. После летних каникул я должен был поступить в еврейскую гимназию в Лодзи. До сих пор помню слова песни, которую мы со слезами на глазах торжественно пели на выпускном вечере в школе, прежде чем каждый из нас пошел своей дорогой.

Быстро проходит жизнь,
Время бежит как ручей.
Скоро наступит тот час,
Когда вместе не будет нас.
И очень, конечно, жаль,
Что останутся в наших сердцах
Тоска и печаль…

Когда мы пели эту песню, то, конечно же, не представляли себе, что многие из нас скоро не только не будут вместе, но их

просто не будет на этом свете.

Наступило 1 сентября 1939 года. Гитлеровцы напали на Польшу и втянули все человечество во Вторую мировую войну. По радио мы слышали угрожающие речи Гитлера и ответ командующего польскими Вооруженными силами маршала Э. Рыдз-Смиглы: «Польша будет мужественно бороться и не уступит ни пяди земли».

Через несколько дней Польша покорилась воле нацистских завоевателей. Лишь ее столица Варшава продержалась целый месяц.

Я снова оказался лицом к лицу с фашистским террором. В Лодзь входили первые подразделения вермахта. Тысячи немцев приветствовали их выкриками «Зиг Хайль!» и дождем цветов.

Для трехсот тысяч евреев города мир погрузился во тьму. Жизнь стала страшным сном. Занятия в гимназии прекратились. Никто больше не был хозяином своей судьбы. Нас охватило жуткое предчувствие. Антисемитизм больше не скрывался, его огонь вспыхивал повсюду и открыто полыхал.

Однажды, когда я шел мимо еврейской гимназии, я увидел, как солдаты пинками загнали в подъезд группу евреев и с жуткой бранью били их, отрезали им бороды и пейсы. В ужасе я убежал домой. Я думал, что задохнусь, судорожно хватал воздух, мое тело сводило судорогой. По пути я все время прятался, чтобы избежать той же участи. Фашисты украли у нас право называться людьми, мы были словно звери, вынужденные убегать от каждого психопата в униформе.

Через несколько месяцев до нас дошли первые слухи о намерениях нацистов собрать всех евреев в одну закрытую зону — гетто.

Наша семья собралась, чтобы обсудить, что делать дальше, и после жарких споров было решено, что мой старший брат Исаак, тогда ему было 29 лет, и я, подросток 14 лет, не пойдем в гетто, а будем пробиваться на восток километров на сто в сторону советской границы.

Мы должны были перейти пограничную реку Буг и попасть в Советский Союз. Там, как мы думали, мы будем в безопасности.

Мой брат Давид, солдат польской армии, оказался в немецком плену, а сестра Берта осталась дома с родителями.

Мы с Исааком колебались. Нам не хотелось разлучаться с родителями, мы хотели помочь им в это трудное время. Но их решение было твердым: они настаивали, чтобы мы собирались в дорогу. Родители настойчиво убеждали нас, что старики хотят разделить общую судьбу с другими евреями нашего города, а мы

еще молоды и обязаны спастись любой ценой.

«Я родила вас для того, чтобы вы жили», — говорила мне мать. Отец положил нам руку на головы, благословил нас святым еврейским «Идите с миром!», а мама добавила: «Вы должны жить!»

С рюкзаком, полным провианта, мы покинули дом. У нас была целая куча выпечки, мать приготовила «коммисброт» из особого теста, в которое подмешивали корицу, чтобы он месяцами не черствел. Отец смотрел на нашу поклажу неодобрительно — по его мнению, она был слишком тяжела. Я надел свой новый костюм, который получил в подарок на бар мицву[3]. Мы прикрепили на пояс складные зонтики, изобретение тогда совершенно новое и соответственно дорогое. Предназначались они для расплаты с крестьянами, если те смогут нас подвезти, или для обмена на что-нибудь съедобное. Несколько таких зонтов брат спас во время погрома фирмы «Джентльмен» в Лодзи, где он тогда работал. Этот «ремень» мы спрятали под широкими куртками, а сверху надели еще и пальто.

Несмотря на опасности, подстерегавшие нас повсюду, нам все же удалось поездом доехать до Варшавы. Там мы пошли к Зильберштрому, директору той самой фирмы, где производились и продавались, наряду с уже упомянутыми зонтиками, плащи и резиновые сапоги. С семьей Зильберштрома брат был хорошо знаком еще до того, как устроился у него работать, и часто у них останавливался, когда приезжал в командировки. В этом доме мы пробыли четыре дня, постаравшись за это время по возможности больше узнать о происходящем и оценить ситуацию.

Десятки мнений и противоречивых слухов распространялись по городу, нами овладели беспокойство и нерешительность, мы не знали, что делать, и могли только молиться, чтобы наше решение оказалось правильным…

Можно ли передвигаться дальше на поезде? Не запретили ли русские пересечение границы на каких-то участках? Повсюду бесчинствовали уличные воры и бандиты, что также могло сорвать наши планы.

Наконец мы сели в переполненный поезд, который шел в направлении пограничной реки Буг. Я был худым и маленьким, и мне без труда удалось втиснуться на свободное место, но мой брат, гораздо более крупный, едва протолкнулся в вагон. Там была такая теснота, что мы чуть не задохнулись. Поезд шел ужасно медленно. После многочасовой поездки, которая, казалось, никогда не закончится, мы остановились в маленьком городке, находился он примерно в ста километрах от реки.

Дальше надо было идти пешком. Образовалась группа из двадцати человек, все были намного старше меня. Снег доходил до соломенных крыш, и было очень холодно.

За несколько монет польские крестьяне согласились подвезти наш багаж на телеге. Мы пустились в дорогу при сильном ветре, семеня за телегой, как траурная процессия за катафалком, согреваемые лишь дыханием лошади.

Монотонный ход по скрипящему снегу напомнил мне об изгнании евреев из Испании[4]. Во время этого нескончаемого пути звучало во мне «Болеро» Равеля.

Иногда крестьяне останавливались, чтобы обратить наше внимание на расположенную вблизи базу немецких войск. Затем мы продолжали наш безмолвный путь. Я чувствовал озабоченный взгляд Исаака — он боялся, что мои силы закончатся. Тогда я старался идти твердым шагом и улыбаться, чтобы его успокоить.

В середине декабря 1939 года мы дошли до Буга, обессиленные, но живые. На другом берегу реки можно было различить солдат Красной армии в зеленых фуражках.

Появилась другая многочисленная группа беженцев, все смотрели на восток. Единственная лодка, принадлежавшая одному польскому крестьянину, служила паромом. Начался штурм, люди толкали друг друга, отпихивали руками, чтобы первыми сесть в лодку. Кое-как я отвоевал себе место, а моему брату не повезло, его выбросили на берег. Лодка уже отплывала, а люди все прыгали в воду, чтобы нас достать. Они надеялись перейти реку, держась за борта. Я звал брата, но больше его не увидел. Я ревел изо всех сил. Среди шума вдруг услышал, что должен ждать его на том берегу.

Крестьянин греб быстро и сильно. Сильный поток грозил унести нас с собой. Льдины окружали лодку. Мы уже пересекли середину реки, как вдруг лицо крестьянина исказилось ужасом. Он пролепетал: «Йезус Мария!» — и перекрестился. Тут я заметил, что в переполненную лодку стала проникать вода.

Медленно, но верно лодка стала погружаться в черные ледяные воды Буга. Среди беженцев возникла паника. Некоторые попытались спастись вплавь. Катастрофы никогда не ждешь. Лодка перевернулась вместе со всеми пассажирами, но до берега было уже недалеко, и взрослые могли уже идти вброд, балансируя с поклажей на голове, у них была почва под ногами. Но я был слишком мал, мои ноги не доставали до грунта. Я глотал воду и отчаянно пытался ухватиться за льдину. Я не мог плыть, закутанный в многослойную одежду, к которой были прицеплены зонтики. Сперва никто не пришел мне на помощь, но, к счастью, один русский пограничник увидел, как я тону и, не

задумываясь, прыгнул в воду. Когда он вытащил меня на берег, я, после того как пришел в себя, в благодарность подарил ему авторучку, которую получил на бар мицву.

На следующий день я встретил брата, мы крепко обнялись, празднуя нашу встречу, и продолжили путь на восток в направлении Белостока. Опасность теперь осталась далеко позади.

Улицы и дома Белостока были полны беженцами из западной Польши. В соответствии с германо-советским договором о дружбе и границе этот район оставался в руках немецких захватчиков, тогда как восточную Польшу оккупировала Красная армия. Граница проходила по реке Буг.

Для меня вскоре нашли надежное убежище — переправили в Гродно, в советский детский дом. Мой брат отправился дальше на север, в Вильно, где он хотел найти свою старую подругу Миру Рабинович.

Детский дом № 1 находился в Гродно по адресу улица Ожешко, 15, в великолепном доме, который принадлежал польскому дворянину, как, во всяком случае, нам рассказывали. Этот богатый помещик бежал от советской власти и нашел приют у нацистов. Что за безумный мир! Люди покидают свой дом, свою землю. Одни бегут на восток от нацистов, другие — на запад, чтобы к ним попасть.

В этом сиротском доме я снова получил право жить по-человечески, чего давно уже был лишен. Постепенно я становился спокойнее, пришел в себя. Но кошмарное путешествие совершенно сломило меня. Мои чувства были в полном беспорядке. Воспитатели меня понимали, и я им благодарен за то, что снова привык к нормальной жизни с регулярным расписанием уроков, полноценной едой, постелью, учебой и занятиям в хоре. Все это способствовало тому, что я снова мог радоваться жизни. Но я страдал от тоски по родине, и меня мучили неопределенность и полное отсутствие известий о судьбе моих близких: каково им в то время, когда я тут беззаботно живу, ем теплую кашу или учу новую главу «Краткого курса истории ВКП(б)».

Боль изнуряла мою душу, а вскоре это сказалось и на теле — я стал «писуном». Каждое утро я должен был снимать свою простыню и под злобными взглядами моих товарищей проветривать ее и сушить. Такого со мной еще никогда не случалось.

Дни мы проводили в учебе и приятных занятиях. Каждый вечер мы приходили, чистые и хорошо пахнущие, на общий ужин

в просторной столовой, которая после приема пищи служила музыкальным залом. Чаще всего подавали суп из манки, и я с удовольствием его уминал, потому что он напоминал мне еду, которую часто готовила моя мать.

Однажды, когда я наслаждался этим вкусным супом, ко мне подошла воспитательница и сказала, что я должен пойти в соседнюю комнату, где меня ждет молодая женщина. Тут же я начал строить догадки: может быть, это ученица из соседнего детского дома хочет спросить меня о каком-нибудь задании или это девушка из театральной кассы? Подумал я даже о фрау Кобрынски, которая ненадолго приютила меня до приема в детский дом. Я оставил суп и широкими шагами поспешил в соседнюю комнату. Не успел я закрыть за собой дверь, как мне на шею бросилась с плачем молодая девушка. Это была Берта, моя любимая сестренка! Долго мы стояли, обнявшись… Я хотел что-то сказать, но мои слова тонули в потоке слез — так я был возбужден. Берта не отпускала меня. Я мог только бормотать несвязные слова — ими мое огромное счастье пробивало себе дорогу.

Все еще не веря своим глазам, я уставился на Берту, по-прежнему красивую и все же с заметными следами ужасного страдания: усталость на лице, а в руках жалкий узелок. А ей был только двадцать один год! Через час, когда потрясение от свидания стало проходить, мы сели на мою кровать, единственный личный уголок в детском доме, и разговорились. Есть она отказалась — ни на секунду не хотела со мной расставаться. Рассказ о ее приключении меня поразил.

Берте с подружкой удалось бежать через ворота гетто, которые позже окончательно закрылись. По тому же пути, что и я, пережив те же опасности, она переправилась через Буг и нашла меня по адресу, который я указывал в своих письмах.

Она рассказала мне, что у отца и матери дела идут сносно, они счастливы, что Исаак и я в надежном месте и что они правильно тогда решили нас, а затем и ее отправить на восток. Письма моего брата Давида из немецкого лагеря для пленных не внушают опасения. Несколько часов Берта поспала на свободной кровати, а на рассвете следующего дня мы простились. Она ушла в Сморгонь, неподалеку от Вильно, где рассчитывала жить у Исаака и Миры, которые недавно поженились. Я не знал, что мы разлучаемся навсегда. Сегодня, когда я пишу эти строки, ее фотография стоит у моей кровати, как никогда не увядающий цветок.

Несмотря на все пережитое, учился я прилежно. Раз в месяц я получал открытку от родителей, и это было мне в радость. Таким образом я узнавал, что они в бодром здравии, брат Давид отпущен на свободу, он приехал в гетто и женился на своей любимой Поле Роснер. В ответ дрожащей рукой я писал длинные письма и отправлял их по адресу: семье Перел, Франциscанерштрассе, 18, гетто Лицманнштадт.

Со временем я был принят в комсомол. Я тогда не мог знать, что в обозримом будущем окажусь в абсолютно другом молодежном союзе. Продвинуться из пионеров в комсомол мне было непросто, потому что в заявлении о приеме я написал, что мой отец торговец, наивно выдав таким образом свое мелкобуржуазное происхождение. В нашем комитете комсомола это обсуждалось очень серьезно. Но так как я показывал отличную успеваемость в учебе и прилежание по всем предметам, то все сошлись на компромиссе — проголосовали за месячный испытательный срок. По истечении этого срока я был вызван в приемную комиссию. Своей пламенной речью я сумел убедить членов местного комитета и был принят в комсомол, о чем страстно мечтал. День, когда я получил комсомольский билет, был для меня настоящим праздником.

В Пайне я жил по адресу улица Ам Дамм, 1, в соседнем доме слева под номером 6 находился магазин колониальных товаров господина Кратца. Он был секретарем городской ячейки Коммунистической партии Германии. Почти каждое утро мама посылала меня к нему купить свежие булочки и молоко, и он всегда гладил меня по голове и прикалывал на грудь значок с серпом и молотом.

Мне это очень нравилось, и я, конечно, симпатизировал его единомышленникам. Их собрание в Народном доме разогнали коричневые из СА, однажды приехавшие во двор дома на грузовике. Уличные бои тогда были кровавыми, и я всегда был на стороне коммунистов из Пайне. Одно для меня было странно: приезжавшая полиция всегда задерживала не коричневых вандалов, а тех, на кого нападали, невиновных.

А в Лодзи родители моих первых друзей Якова и Ежика входили в крайне левый Социал-еврейский союз. Таким образом, судьба снова свела меня с теми, кто разделял убеждения господина Кранца. Почти регулярно я посещал клуб бундовцев и даже принимал участие в запрещенных тогда первомайских демонстрациях. По-другому и быть не могло. После вынужденного побега из родительского дома я очутился в советском детдоме. И полученная там белая рубашка с красным

галстуком, ежедневные уроки марксизма-ленинизма легли на уже хорошо подготовленную почву. Салли стал убежденным борцом за лучшее будущее человечества.

Над нашим детским домом шефствовал танковый полк Красной армии. Регулярно мы проводили вечера в обществе танкистов и от них узнали прекрасные песни: «Калинка» и «Катюша». Позже я пел их на иврите с моими боевыми товарищами во время Войны за независимость Израиля[5].

В такие вечера завязывались дружеские отношения между воспитанниками детского дома и солдатами. Иногда нас приглашали на экскурсию в часть, чтобы посмотреть на спортивные мероприятия, в которых мы тоже могли принимать участие. Все это помогало мне бороться с тоской и печалью.

Иногда военные брали нас с собой в городской кинотеатр, где показывались советские фильмы. Однажды мы посмотрели фильм «Искатели счастья» о евреях в Биробиджане. Я ничего не понял: о каких евреях идет речь, как они туда попали? Но в некоторых сценах говорили на идише, что меня очень радовало. Было у меня желание когда-нибудь посетить эту незнакомую мне еврейскую республику. Но дальнейшие события помешали этому.

Так прошли два года: с 1939 по 1941. Наступил июнь. Мы были заняты подготовкой к отъезду в летний лагерь на берегу Немана. Предыдущее лето мы уже проводили там и с нетерпением ждали, когда вновь поедем в лагерь. Мы и не предполагали, что как раз в этот момент немецкая армия готовится к нападению и был начат отсчет времени для приведения в действие плана «Барбаросса».

22 июня 1941 года. Наступление началось на рассвете. В 5 часов мы вскочили со своих кроватей от рева первых авиабомб, сброшенных немцами. Несколько минут спустя мы узнали, что началась война. Немцы нарушили пакт о ненападении и начали наступление на Россию. Советский воспитатель, еврей, вдруг появился в спальне и приказал всем еврейским детям быстро одеваться и спасаться бегством. Повсюду работали громкоговорители. Мы слышали, как нарком иностранных дел Молотов провозгласил «отечественную войну за Родину».

В дорогу отправились целой группой. Мы думали, что Красная армия с фашистскими завоевателями расправится быстро, прежде, чем нам удастся добраться до Минска.

Об этом мы пели в наших советских патриотических песнях, об этом говорилось в речах партийных функционеров, непрестанно обещавших уничтожить противника. Но во время нашего бегства перед нами открывалась другая картина.

Дороги и поля усеяны были мертвыми и ранеными. Везде распространялись пожары, воздух был полон ядовитым дымом и сладковатым трупным запахом. Нашу группу охватила паника, все разбежались. Я остался один и хотел пробиваться на север, к Сморгони, чтобы добраться до брата Исаака. Однако волна беженцев захватила меня с собой на восток и привела в маленькую деревню неподалеку от Минска. Там я узнал, что дальше на восток бежать невозможно, потому что немцы заняли город. Повсюду я видел ужасные следы опустошения.

В этом кошмаре я старался сохранять ясную голову. Как тысячи других, я стал спасаться бегством. Перепрыгивал через перевернутые повозки, повисал на борту переполненного грузовика. И при этом только одно было у меня в голове: я должен выжить.

Земля горела под градом бомб и гранат. Плотный дым поднимался к небу, потом рассеивался. Свист смертоносных металлических снарядов, начиненных взрывчаткой, усиливался, приближаясь.

Когда над нами пролетали самолеты со свастикой и крестами, я бросался плашмя на землю, чтобы защититься от них, хоронился под корни деревьев, чтобы избежать взрывной волны. Вторжение это по праву называли блицкригом. Характерным для него было продвижение огромных танковых колонн в глубь вражеской территории, не особо задумываясь о том, что творится на флангах.

Когда танки доходили до определенной цели, то разделялись на две колонны, двигавшиеся направо и налево, пока путем многократного разветвления не присоединялись к другим, параллельно действующим танковым колоннам. Таким образом немцам удалось в течение нескольких дней образовать клин, который они контролировали с севера на юг по всей линии фронта. Поэтому Красной армии приходилось действовать между такими клиньями, то есть фактически в окружении противника. Положение становилось драматичным: куда ни посмотришь, везде пожары, раненые и убитые…

Мне было 16 лет.

Не иначе как свыше мне было даровано в те годы умение оставаться, несмотря на ужасные события, в какой-то мере разумным и хладнокровным. В тот момент я еще не имел верного представления о настоящей опасности и не мог себе представить, что мне готовит будущее. Мне удалось на какое-то время убежать

из ада Третьего рейха. Я вышел из Пайне, из Лодзи, из Гродно. Мой теперешний, третий, побег из Гродно в Минск как будто бы близился к концу. В действительности же он только начинался.

Через день после моего прибытия в маленькую деревню рано утром я наткнулся на советских командиров высокого ранга, склоненных над развернутыми картами. Те, кто был рангом пониже, собирали солдат, пытаясь составить подразделение, с которым можно было бы прорвать окружение и пройти к регулярным частям. Удалось ли это им, я так никогда и не узнаю, но я пожелал им успеха.

Мне хотелось дойти до ближайшего колодца и набрать в котелок воды, чтобы сварить немного лапши с последними кусочками сахара. Прихватил я их из одной полевой кухни, брошенной при отступлении.

Между тем взрывы приближались.

Штурмовики били залпами, и шальные пули так и свистели в воздухе. Только в матушке-земле можно было спрятаться: за холмом, за камнями или в кювете я чувствовал себя в безопасности.

Они появились внезапно.

После того как дым рассеялся, я отчетливо разглядел мотоциклистов. Их лица были черными от сажи и покрыты коркой пыли. Большие водительские очки закрывали глаза и лоб. Наводящие ужас стальные каски, зеленая униформа и черные сапоги придавали им вид чудовищ.

На мотоциклетных колясках были установлены пулеметы, всегда готовые к тому, чтобы открыть огонь.

Мы оказались в ловушке. Бегство было невозможным.

Вдруг в небе появился самолет и сбросил листовки. По-русски и по-немецки нам было приказано бросать оружие и следовать указаниям патрульной машины, которая уже стояла перед нами.

Слышались крики: «Давай! Давай! Los! Los!»

Мы должны были выйти на пустое поле и выстроиться в шеренги — так нас рассортировывали. Я встал в самую длинную. Там стояли офицеры, солдаты и мирные жители. Я был единственным подростком. Несмотря на свои 16 лет, выглядел я как маленький мальчик.

Я долго ждал, пока очередь медленно продвигалась к немецкому охраннику. Слухи в шеренге нарастали. Друг другу шептали, что евреев и политкомиссаров Красной армии фашисты не станут отправлять в лагерь для военнопленных, как это

принято по международным законам военного времени, а погонят в ближний лес и там расстреляют.

Шеренги строго охранялись солдатами. Каждый замеченный шаг за линию сопровождался бранью, угрозами или автоматной очередью. Я видел, как советские командиры срывали свои нашивки, пятиконечные звездочки и значки политрука.

Я понимал, что каждый шаг вперед может быть для меня последним. Я уже не мог думать, страх и ужас парализовали меня, язык как комок свинца лежал у меня во рту. Я мог только бормотать: «Мама, папа, Господи, где вы? Я еще не хочу умирать».

Почти как во сне, преодолевая отчаяние, я уничтожил все документы, указывающие на мое еврейское происхождение и принадлежность к комсомолу. Каблуком ботинка я выкопал ямку в мягкой земле и втоптал туда «предательские» документы. И это перед самым носом охранника! Не думал я ни о последствиях, ни о том, что могут сделать фанатики «порядка и совершенства» с мальчиком без документов. И все-таки мой внутренний голос, интуиция, надежда мне шептали: «С тобой ничего не случится».

Наверное, такая надежда тлеет в сердцах приговоренных к смертной казни, когда палач ведет их из камеры в последний путь. С конца войны и до нынешнего дня я вижу во сне, как стою на краю свежевырытой могилы. Напротив меня приводят в исполнение приказ… пули свистят… они попадают или не попадают… я падаю… падаю… и просыпаюсь. Я в холодном поту, остолбенев от ужаса, жадно хватаю воздух — я жив. И так каждый раз, как будто бы мне снова подарена жизнь.

Очередь продвигалась. Вскоре между нами и солдатами осталось совсем небольшое расстояние. Передо мной находилась еще группка мужчин. Я мог уже отчетливо видеть лица тех, кто решает, кому позволено жить, а кому нет. Я слышал их лающие приказы. Наступает ли в моей жизни последний час?

В этот момент я хотел убежать, провалиться под землю, превратиться в какого-нибудь зверя или стать невидимкой. С удовольствием бы проснулся на груди матери, перевел бы дыхание. Я стоял как вкопанный. Страх достиг неописуемого предела. Он проник во все уголки моего тела и грозил разорвать его на тысячи кусочков. От такого невыносимого напряжения я даже описался. Я почувствовал спад напряжения и некоторым образом облегчение. Мое нижнее белье увлажнилось, но быстро высохло и стало жестким.

Я зажмурился, как бы паря между небом и землей. Когда я снова открыл глаза, увидел пред собой солдатский ремень, на пряжке его было написано «С нами бог». Что могли означать эти

слова?

Тот ли это самый Бог, Который нас, евреев, объявил избранным народом? Или у них свой бог, которого следует насытить человеческими жертвами? Солдат заорал на меня: «Хенде хох!» Настала моя очередь. Пару секунд, быть может, последних в моей жизни, я подумал об отце и матери, о всем хорошем и красивом, что случилось со мной на земле, о своем неукротимом желании жить.

Дрожа всем телом, я поднял дрожащие руки, и фашист в стальной каске приблизился ко мне, чтобы основательно меня обыскать. Я видел себя уже мертвецом, стоял как вкопанный и ничего не говорил.

Я ждал. Он поднял руку, и в тот момент, когда он меня коснулся, воля к жизни поднялась во мне как ураган. Что-то фантастическое произошло во мне, какой-то ангел-освободитель проснулся вдруг внутри. Парализующий страх улетучился. Даже мой свинцовый язык отклеился. Надежда и мужество охватили меня, я с легкостью сказал тому, кто должен быть решить мою судьбу: «У меня нет оружия», — и широко улыбнулся.

Он наклонился, быстро ощупал мои карманы, покосился сверху вниз, подозрительно и угрожающе спросил: «Ты еврей?»

Не колеблясь я ответил ему уверенно и твердо: «Я не еврей, я фольксдойче[6]».

Моя жизнь висела на волоске. Я находился в руках солдата, отравленного сумасшествием войны и жаждой убийств. В его глазах человеческая жизнь была менее ценной, чем пуля. Мою судьбу определял его приговор. Поверил ли он мне?

Опасность обострялась. Положение становилось почти безвыходным. Стоявший за мной молодой поляк вдруг выскочил вперед и крикнул, показывая на меня пальцем: «Он еврей!» Я отрицательно мотнул головой, полуживой от страха. Тут произошло нечто странное и невероятное, чего я до сих пор не могу понять. Солдат-нацист поверил мне, именно мне! Доносчик получил громкую затрещину за свою наглость и приказ: «Заткнись!»

Мой взгляд снова остановился на портупее солдата. Во второй раз я прочитал: «С нами бог». Что в этот решающий момент произошло в сердце того человека? Может, в то время, когда он стоял передо мной, голос свыше ему шепнул: «Этот мальчик должен жить»? Если так, то почему выбор пал именно на меня? Узнаю ли это когда-нибудь? До того как очередь дошла до меня, многие евреи уже прошли контроль смерти. Они тоже хотели скрыть свое происхождение. Но оттого, что не были сильны в немецком, они выдавали себя за поляков, украинцев,

литовцев и т. п. Но как только в глазах недоверчивых солдат показывалось малейшее сомнение, они приказывали им снять штаны. И всех, кто был обрезан, сгоняли в одну группу и уводили в лес. Там их расстреливали.

Но мне, мне они поверили…

Неожиданно вежливо меня попросили отойти в сторону. Я послушался. Между тем отбор продолжался. Пока я ждал, слышал металлический лязг лопат, которыми рыли могилы моим братьям, автоматные очереди. Те, кто стрелял, относились к особой команде, они шли по пятам проникающих в глубь военных соединений, но в боевых действиях не участвовали, а только бесконечно убивали евреев и комиссаров.

Я все еще стоял тут, пораженный тем, что происходило на моих глазах. Те, кто отходил направо, отправлялись в лес смерти, попавших в левую очередь гнали в огромные концлагеря, которые они сами для себя строили. Я застыл посередине и ждал своей участи.

Время от времени немец, который спас мне жизнь, ободряюще улыбался — обо мне он, выходит, не забыл. Подошел немецкий унтер-офицер. «Господин унтер-офицер, среди этих отбросов человечества мы нашли молодого немца», — отрапортовал солдат. Унтер-офицер добродушно улыбнулся.

Важной задачей национал-социалистов было вернуть всех немцев в рейх. Выполняли ее солдаты с патриотической гордостью. Еще далеко до той поры, когда они доберутся до тысяч поволжских немцев. А тут «первая ласточка». Час спустя мимо проезжал бронетранспортер, полный вооруженных солдат. Унтер-офицер его остановил, перекинулся парой слов с гауптманом[7] и сказал, что я должен сесть на борт.

Солдаты мне улыбались. Один из них сфотографировал эту сцену, не предполагая, какой это будет редкий снимок. Только в 1987 году, через 45 лет, я держал его в руках. Нашел его в Любеке, у Эренфрида Вайдеманна, того самого солдата.

После того как меня втиснули внутрь, проехал тягач. Визг гусениц заглушил выстрелы в лесу, а облака пыли скрыли от меня бесчисленных людей, которые шли навстречу своей судьбе.

Занавес опустился и поднялся вновь — началось путешествие в неизвестное будущее.

Я крепко держался руками и ногами за борт вражеской машины — падение было бы фатальным. Поездка продолжалась недолго. Мы быстро добрались до расположения танкового

отряда 12-й танковой дивизии.

Старший фельдфебель отряда, 40-летний берлинец по имени Хаас, сердечно меня принял. Он отпустил несколько сочувственных слов по поводу моего несколько смущенного состояния, растерянности из-за пережитого кошмара, который мне пришлось пережить, и обещал обо мне позаботиться. Я действительно был истощен, голоден, в порванной одежде, так как во время моего слишком торопливого побега вынужден был ползти через заросли кустарника по каменистой местности.

Молодому солдату было велено принести мне еду. Никогда не забуду, с каким аппетитом я смёл целую тарелку бутербродов. Другому солдату было приказано обеспечить меня обмундированием, сапогами и формой самого маленького размера.

Насытившись и помывшись, я влез в униформу, заготовленную для меня вермахтом. До сих пор у меня остается впечатление, что в том кошмаре я участвовал помимо своей воли, словно был статистом. Как будто насчет моей судьбы все было предопределено, и ангел-хранитель своими крылами укрыл меня и спас, ниспослав мне подходящие слова и поведение.

Я осматривал себя в зеркале заднего вида стоящей рядом машины. На своей груди я увидел значок с прусским орлом, держащим в хищных когтях свастику. Меня попросили примерить фуражку с черно-бело-красными полосками, и это меня окончательно отрезвило. Я считал, что выгляжу ужасно. Вокруг меня, маленького Соломона, шла кровожадная война, а я влез в нацистскую униформу. Это как холодной водой окатило меня с ног до головы. Ситуация была напряженной, я просто не знал, как себя вести.

Я боялся сам себя и тех, кто меня окружал. И неизвестно еще, кого больше. Я, еврейский ребенок, пребывал среди своих злейших врагов и должен был приложить все свои силы, чтобы сберечь нервы и препятствовать тому, чтобы опасная правда вышла на свет.

Раньше я спасался от фашистов бегством со смертельным страхом в груди и с бледным от страха лицом. А теперь я находился в их лагере, носил их форму и должен был демонстрировать всем своим видом, что наконец добрался до безопасного места и рад возвращению на родину. Зеркало отразило форму на моем худом теле — а ведь от нее бежал я из Пайне, из Лодзи, из детского дома. Не кошмарный ли это сон, от которого я вот-вот очнусь? Нет, открыв глаза, вижу, что все это наяву — как бы я ни отказывался в это верить. Такой поворот сюжета невозможно было придумать даже в самой сумасбродной

фантазии. Чувствовал я себя подобно овце, брошенной в пещеру льва. Через несколько долгих минут я преодолел шок от внезапной перемены.

Теперь я судорожно обдумывал ответы, которые мне надо было давать, и поведение, которого мне следовало придерживаться. Я был еще в своих мыслях, когда мне приказали предстать перед фельдфебелем. Он сидел в голубом «фольксвагене», служившем передвижной ротной канцелярией. Рядом с рулем была прикреплена доска с пишущей машинкой, на заднем сиденье находились полки с документами. Немецкий порядок.

Я приблизился к нему и как только встретился с ним взглядом, он тут же взялся за карандаш и сказал: «Твои документы, пожалуйста».

Мой язык словно парализовало, и я едва смог не выдать то, что несколько секунд назад занимало мои мысли. Если бы я признался, что зарыл свои документы, это стало бы для меня смертным приговором.

Мне надо было выдумать убедительную историю. Но прежде никто меня не научил делать это с ходу и правдоподобно. Это сделали обстоятельства и нацисты. Меня быстро увлекли фантазии, необходимые для выживания.

Ложь явилась в секунду: «Господин фельдфебель, все мои документы были уничтожены массивным артобстрелом вашей армии местности, в которой я находился», — ответил я уверенно. «Ах ты, бедный парень!» — сказал немец и понимающе улыбнулся. Он взял чистый лист бумаги и спросил: «Как тебя зовут?» Непроизвольно я назвал свое настоящее имя Перел, и вдруг в моем сознании прозвучал тревожный колокольчик: «Соломон, что ты наделал? Ты сам, своими же словами разрушил единственный шанс на выживание. Перел — исключительно еврейская фамилия».

Очевидно, я еще недостаточно тренировался и не понимал, о чем идет речь, как и то, что каждая минута моей жизни будет зависеть от моего умения врать и ложь станет моим единственным оружием. К счастью, из-за шума бомбежки и ревущих моторов самолетов он не смог расслышать того, что я сказал, и переспросил: «Как-как?» Еще раз виселица обошла меня стороной. Мне было ясно, что я должен найти себе другую фамилию, но звучащую похоже, а не такую, как, например, Штуттваффер или Мюллер. И я ответил, что меня зовут Перьел.

Вероятно, я правильно угадал, так как мужчина, который стоял рядом, пришел мне на помощь: «Перьел, Перьел — это

типично для немца из Литвы». Конечно, я тотчас же это подтвердил. Когда меня спрашивали о происхождении моей семьи, я постоянно отвечал: «Я литовец».

На свидетельство такого эксперта по именам можно было положиться.

Второй вопрос последовал немедленно: «Имя?» Разумеется, я назвался не Соломоном — иначе я был бы просто сумасшедшим. Отчаяние вдохновило меня, и я назвал первое, что мне пришло на ум: «Йозеф».

Вот так состоялась моя новая идентичность. Обстоятельства продиктовали мне новый образ действий — так я превратился в Йозефа Перьела, немца из Гродно. В моих документах с правдой совпадала только дата рождения, ее невозможно было подделать. Хотя бы даты не бывают чисто «арийскими»!

Я, Соломон Перел, еврейский мальчик из Пайне, с этого момента должен был жить под чужим именем.

Немецкий порядок функционировал безупречно, и я быстро был распределен в роту 12-й танковой дивизии немецкой армии, во главе которой стояли главный фельдфебель Хаас и командир роты гауптман фон Мюнхов.

Новость быстро облетела часть, и многие, кто служил в моем подразделении, приходили, чтобы посмотреть на немецкого подростка, добытого как трофей, чтобы поприветствовать его.

Улыбаться и радоваться, когда тебя раздирают печаль и страх, невообразимо тяжело. Несмотря на их вежливость, я боялся их как чумы. Я знал, что одна небольшая оплошность может мне стоить жизни.

Я должен был собраться духом, сохранять холодную голову и довериться игре, правил которой не знал. Я даже не представлял, что это все было только началом сумасбродной и нескончаемо ужасной комедии.

Ночь я провел на переднем сиденье грузовика. Несмотря на не покидавший меня невыносимый страх, усталость взяла верх, и я глубоко и крепко заснул.

На следующее утро меня послали в каптерку, чтобы получить все необходимое для солдата. Многочисленное обмундирование аккуратно лежало в большом мешке защитного цвета. Я как раз приводил себя в порядок, как вдруг услышал громкий приказ построиться. Я задрожал, мне стало дурно. К счастью, меня от этой обязанности освободили, разрешили просто находиться рядом. Солдат в строю проверяли на предмет побритости, чистоты, исправности оружия и обуви, раздавали им почту и зачитывали распоряжения на день. Я понял, что все действия происходят планомерно и войска быстро продвигаются на восток

к намеченной цели.

Однажды, когда я вместе с другими солдатами должен был построиться, ко мне подошел фельдфебель с опасной бритвой в руке. От страха у меня заболел живот, на лице отобразилось крайнее смущение. Он с улыбкой извинился и сообщил мне, что с моей формы должен срезать символы рейха, так как я еще не присягал ни рейху, ни фюреру. К тому же не числюсь как регулярный солдат и потому не имею права носить эти нашивки. Он утешил меня обещанием, что при первой возможности я дам присягу и тогда уже получу символы официально.

День и ночь я думал только об одном — о побеге. Я хотел дойти до линии фронта, перейти ее и перебежать к боевым частям Красной армии. Очень скоро мне стала ясна невозможность осуществить этот план, и его исполнение я решил отложить на более благоприятное время. Между тем мне дали нарукавную повязку с надписью «переводчик» — учли, что я говорю по-русски.

Прошло не так много времени, как меня повезли в построенный поблизости временный лагерь для пленных. Я должен был переводить допрос нескольких офицеров. На огромной территории толпились тысячи мужчин, охраняемые вооруженными солдатами. Они были наголо обриты и сидели по-турецки под палящим солнцем без воды и еды. Когда я вошел, мне бросился в глаза один раненый, он лежал на полу в форме Красной армии. Весь низ его тела был оголен, вместо члена зияла глубокая рана. Он стонал и просил воды. Я вспомнил русского солдата, который меня спас, когда я чуть было не утонул. Но у меня не было возможности помочь несчастному. Я прошептал ему несколько утешительных слов и с тяжелым сердцем последовал за двумя немецкими офицерами.

Мы дошли до бараков, окруженных высокими деревьями, там содержались пленные офицеры. В отличие от многочисленных солдат, они выглядели еще вполне по-человечески. Мне было приказано перевести им регламент, включающий нормы порядка и наказания в случае его невыполнения.

Моя работа в качестве переводчика была не особенно трудной, я даже удивлялся, как быстро научился в ней ориентироваться. При каждой встрече с русскими пленными, настоящими моими товарищами, я должен был подавлять в себе сострадание к ним. Постепенно мое безупречное поведение на допросах внушило ко мне доверие и уважение моих «товарищей». Они находили меня смешным в моей слишком большой униформе и огромных сапогах, которые делали меня похожим на

Кота в сапогах. Я считался «самым юным солдатом вермахта», что увеличивало симпатию ко мне, и мне это было на пользу. Солдаты постоянно подкармливали меня сладостями, спрашивали о моем самочувствии и заботились о том, чтобы днем мне было не очень жарко, а ночью не очень холодно.

Они стали называть меня *kumpel*, приятель. Я стал талисманом части. Они делились со мной посылками от родителей. Враги моей семьи и моего народа, при ином раскладе и меня бы лишившие жизни, видели во мне свой талисман, в то время как я внутренне молился о том, чтобы они как можно скорее проиграли войну. Какая горькая ирония судьбы!

На каждом шагу отдавались приказы «Вперед, на восток!», и так мы каждый день на много километров продвигались вперед, пока не показалась окраина города Смоленска.

В части царила железная дисциплина. Особенно боялись старшего фельдфебеля Хааса. Гауптман фон Мюнхов появлялся редко. На каждую новую стоянку приезжали грузовики с вином и шампанским. В них он и проводил большую часть времени с офицерами из соседних частей. Если я случайно оказывался один в его бункере, то пользовался возможностью стянуть сигарету с его письменного стола. И с удовольствием ее выкуривал!

Следующая история дает картину строгой дисциплины. Часть выступала вперед как отдельное формирование. Она состояла из нескольких десятков самоходок, во главе шла машина гауптмана. Время от времени дежурный офицер и фельдфебель на мотоциклах объезжали конвой, чтобы проконтролировать, все ли солдаты полностью вооружены, лежат ли руки на автоматах и правильно ли застегнут шлем. Униформу следовало застегивать на все пуговицы. И только в жаркие дни, после обеда, когда позволяло солнце, господин гауптман разрешал расслабиться и отдавал приказ: «Верхнюю пуговицу расстегнуть!» Указание переходило от одной боевой машины к другой. Я сидел сзади на второй машине и должен был дальше передавать радостную весть. Долгие минуты я наблюдал за тем, что происходило в остальной части конвоя. Головы поворачивались, как в мультфильме, одна за другой, чтобы передать распоряжение дальше, и рука за рукой поднимались к верхней пуговице.

Во время пребывания в части между мной и военврачом Хайнцем Кельценбергом установились дружеские отношения. Мое постоянное место в конвое было в его машине. Мы вместе обедали, перекусывали на обочине дороги, он рассказывал мне о своей семье, родном городе Кельне и вообще о Германии. Был он

крупным и рослым, но с тонкими чертами лица и светлыми волосами, аккуратно причесанными на прямой пробор. Он научил меня нескольким кельнским народным песням, и я привязался к нему. Он первым дал мне забавное прозвище Юпп, которое скоро прижилось и среди остальных.

Мы быстро продвигались вперед, особенно днем. С наступлением ночи наша часть устраивалась на постой в подходящих для этого местах. Жилища местного населения из таковых исключались из-за плохих санитарных условий. Мы затаскивали в сараи солому, из нее делали постель и выставляли посменную охрану.

Однажды ночью, когда я крепко спал на сеновале, я вдруг почувствовал, как кто-то провел мне рукой по низу живота. Я открыл глаза и увидел рядом лицо Хайнца. Я был разъярен этим неожиданным прикосновением, быстро отодвинулся, а он все пытался ко мне приблизиться и при этом шептал: «Тихо, Юпп, я только хотел немного с тобой поиграть». Я не понимал, что за игру он имеет в виду, но мое естество воспротивилось этому неизвестному мне времяпрепровождению. Я схватил одеяло и переполз в другой угол.

На следующий день мы оба вели себя так, будто ночью ничего не случилось. Это было само собой разумеющимся — не мог же я на себя навлечь чье-то раздражение. Затеять с кем-нибудь ссору из-за пустяка было бы сумасшествием. Однажды мы остановились в одном большом школьном здании. На стенах еще висели коммунистические лозунги и цветные плакаты Сталина с его любимой дочкой Светланой на руках. На ее белой блузке развевался красный галстук, а широко улыбающееся лицо излучало гордость и счастье. Она салютовала по-пионерски «Всегда готов!»[8].

Я вспомнил, как мой отец однажды взял меня на руки и закружил. Тогда мы хохотали. Теперь же я был покинутым ребенком, окруженным пособниками дьявола.

Я остался один в каком-то классе. Тоска по дому одолевала меня, и все-таки я уснул. Вдруг я почувствовал на лице сырую тряпку. Острый запах эфира ударил мне в нос. Я резко сбросил тряпку, так что эфир не успел на меня подействовать, вскочил на ноги и увидел Хайнца. Тот промямлил: «Это совсем не так плохо…»

Постепенно я научился жить в моей новой шкуре. Страх и тоска по дому отступили и мучили меня уже куда меньше. Воля выжить пересиливала, все остальное стало второстепенным.

Несколько дней мы стояли в Смоленске. И здесь у меня была возможность принять участие в волнующем историческом

событии. Меня вызвали в главную ставку роты переводить допрос только что захваченного русского офицера высокого ранга. Такие встречи наполняли меня тайной радостью, так как мои симпатии всегда были на стороне пленных. Иногда я их подкармливал, но при этом мне удавалось унять свои порывы выразить им свою поддержку.

Это был мой мизерный вклад в общую борьбу. Состояла же она в том, чтобы выстоять в данных условиях. В то время я только становился взрослым человеком и мое сознание никак не могло приспособиться к постоянной необходимости притворяться.

За мной заехали на мотоцикле. Через несколько километров мы подъехали к месту, где содержались русские офицеры. Это был крытый соломой дом, хозяева которого сбежали. На лицах заключенных низших чинов, а также солдат отражался страх предстоящего плена. Охранник указал на одного низшего чина, и немецкие офицеры во главе с подполковником Хенманном из 2-й роты нашего батальона танковой дивизии приблизились к пленному и начали допрос. Я был удивлен, как официально и уважительно они с ним говорили. Обычно с русскими они вели себя безобразно, высокомерно и жестоко.

Уже в самом начале допроса мне стало ясно, что перед нами офицер артиллерии Яков Джугашвили, сын Сталина. Он находился здесь, в то время как его знаменитый отец в спешке организовывал оборону Москвы.

Я с трудом сдерживал волнение. На лицах присутствовавших немцев также читался явный интерес. Проверка документов требовала подтверждения. Немцы просили пленного указать точное расположение артиллерии его части, которая все еще продолжала сражаться, но он отказывался, пользуясь правом военнопленного офицера, и давал лишь показания, которые касались его лично. Между тем комендант дивизии получил донесение и приказал немедленно перевести пленного в штаб. Я успел украдкой улыбнуться Якову и пожелать ему доброго пути. Больше я никогда его не видел.

Война продолжалась и увлекала меня за собой. Необходимость жить среди взрослых мужчин основательно изменила мою жизнь. Против своей воли я слушал их противные речи, их непристойные анекдоты, истории их любовных похождений и побед. Не все, что они говорили, было совсем неинтересным, однако по большей части это была пустая вульгарная болтовня. Иногда они тоже не могли скрыть своей тоски по семье, дому и Германии. Они утешали себя перспективой вернуться домой после скорой победы, которую они

одержат задолго до прихода ужасной русской зимы.

Никто не отваживался хотя бы с оговоркой выражать собственное мнение о войне. И это при том, что день ото дня все большее число их товарищей превращалось в трупы, изрешеченные пулями или разметанные осколками гранат. Поначалу это были отдельные могилы, но чем ближе мы подходили к Москве, тем больше полей превращалось в сплошные кладбища.

Подвергшиеся промыванию мозгов, солдаты постоянно повторяли одни и те же фразы. В качестве аргумента в свою пользу они указывали на примитивные условия жизни после 25 лет коммунистического господства — в этом они находили признак небрежности и слабости: ничего себе рай, Адольфа Гитлера можно только благодарить за то, что он привел их сюда и таким образом открыл им глаза на советскую власть. Доказательство налицо, фюрер прав: тут необходима твердая рука, и она уже предначертана свыше — это рука немецкого рейха. В конце концов, это было бы хорошо и для «Ивана» — так они называли своих предполагаемых вассалов.

Временами, однако, жизнь была веселой. Я уже хорошо играл на губной гармошке, к тому же выучил их песни, научился играть в скат и раскачиваться, когда мы заливали пиво в охрипшие глотки. Но даже в минуты самого бесшабашного удальства страх не покидал меня ни на секунду. Что случится, если они узнают правду?

В осознании моей ужасной тайны я продолжал вести трагическую двойную жизнь. Ведь среди них не было ни одного, кому я мог бы довериться. А я испытывал жгучую в том необходимость. При том, что научился держать язык за зубами, управлять своими чувствами и не поддаваться искушению рассказать правду.

Однажды ефрейтор Герлах передал мне приказ явиться к командиру роты. Герлах спросил меня, знаю ли я, как надлежащим образом необходимо приветствовать начальника. Я отвечал, что постараюсь научиться, чтобы ему не было за меня стыдно. Я отполировал обувь, почистил пыльную форму, поправил фуражку. Я шел, раздираемый противоречивыми чувствами. Сердце мое учащенно билось. Гауптмана фон Мюнхов я очень боялся. Его лицо неизменно выражало скрытность, и это мне внушало осторожность и заставляло держать дистанцию. Он был обвешан наградами, особенно бросался в глаза Железный крест — настоящий юнкер, отпрыск консервативных прусских дворян. Для меня он был воплощением нациста. Когда я находился рядом с ним, то непроизвольно чувствовал себя

скованным.

Я боялся, что он подозревает меня и, возможно, подслушивает, опасался, что однажды устроит мне допрос так, что из моих ответов раскроется правда. Он уже проявлял интерес к моей персоне и регулярно обо мне справлялся. А я постоянно с улыбкой отвечал, что мои дела идут хорошо, но при этом предательски краснел.

Теперь я должен был предстать перед ним в его палатке. Сведется ли все к строгому допросу, пусть и строгому, но который я выдержу? Я молил Бога о пощаде. Со временем я придумал себе простую и убедительную историю, которая, как я надеялся, рассеет недоверие и избавит меня от назойливых вопросов.

Я, дескать, рано стал сиротой, поэтому меня отправили в детский дом в Гродно. Родителей едва помню и не так много знаю о своих близких родственниках. Короче говоря, я один на свете. Ради пущей правдивости выдумал еще и тетю: время от времени она меня навещала, и мы говорили по-немецки; не знаю, как сложилась ее судьба.

Я шагал быстро, как солдат, который спешит в строй на комендантскую поверку. Состояние мое было в высшей степени тревожным. У входа в палатку стояла охрана. Я вошел и откозырял. Наверное, снаружи было слышно, как я щелкнул каблуками. Это понравилось, и я был принят с улыбкой. Гауптман фон Мюнхов предложил мне сесть, а ефрейтору Герлаху приказал принести вина и печенья. Мне вдруг подумалось: сон это или явь? «Ты уже пил когда-нибудь вино?» — спросил гауптман. Я отвечал, что нет. Я уже научился думать одно и при этом говорить, не моргнув глазом, совершенно другое.

Я хорошо помнил, что, по крайней мере, на Песах[9] когда-то выпил четыре стакана вина. Эти мицвот[10], приятные обязанности набожного еврея, я очень любил. Помню, как однажды в шабат[11] отец перед началом традиционной трапезы опустил в фужер с крепким алкоголем кусок сладкой халы и дал мне попробовать. Я чуть было не захлебнулся, слезы выступили у меня на глазах, а сидящие вокруг закатились громким смехом.

В то время как я думал об этих счастливых моментах в отчем доме, вслух отвечал, что еда в детдоме была скверной, а мои губы, само собой, никогда не касались вина.

«Если это так, то можешь попробовать настоящее хорошее мозельское». Вино приятно смочило горло, печенье было рассыпчатым и вкусным. «Что за прекрасная война для господина гауптмана!» — подумал я.

Завязалась непринужденная беседа. Гауптман фон Мюнхов не

выражал никакого сомнения или подозрения, когда я ему рассказывал о своей придуманной жизни. Этим я был даже удивлен. Подумал даже, что вся эта история делала меня в его глазах более привлекательным. Он хвалил мое мужество, мое безупречное поведение, мою отличную дисциплину. А потом сделал мне ошеломляющее предложение.

Он владеет большим имением в Померании, в Штеттине, очень богат, но не имеет детей. А так как я очень ему понравился, он захотел меня усыновить. «Ты перестанешь быть сиротой и на своей новой родине получишь прекрасный дом».

Я как с неба свалился. Что-то во мне говорило: «Как ты можешь соглашаться — ведь у тебя есть родители! По отношению к ним это было бы преступлением».

Мое сознание бунтовало, и несколько секунд я сомневался. Противоречивые мысли теснились в моей голове. Вслух же сказал: «Я бы с удовольствием». Мне удалось при этом выглядеть счастливым и улыбаться. Он не замечал ничего, не мог заметить, что в эти мгновения со мной действительно что-то происходит. Внешне я был спокойным и радостным, внутри же бушевали горе и тоска по дому. Я еле сдерживал слезы.

Усыновление должно было произойти непосредственно после победоносного возвращения войск на родину. Я должен был встретить моего отца-усыновителя в его имении, где и предполагалось уладить необходимые формальности.

Мой «будущий отец» еще некоторое время душевно со мной поговорил. На прощание он обнял меня и сказал: «Тебя будут звать Йозеф фон Мюнхов. Я скажу своей жене о твоем согласии. Она будет счастлива и скоро обязательно тебе напишет».

Я вышел на свежий воздух, все еще абсолютно оцепеневший, беззвучно взывая к отцу и матери.

Со временем, похоже, я заразился напряженным ожиданием близкой безоговорочной победы. Прежде чем уснуть, судорожно пытался представить себе это имение и свою приемную мать. Но думал и о своей семье. Увижу ли я их снова? «Будешь ли ты, как прежде, Соломоном Перелом или Йозефом фон Мюнхов?» — спрашивал я себя. До сих пор удивляюсь, как от всего этого я не сошел с ума.

Однако я не прекращал думать о побеге. Я все еще надеялся добраться до передовой и перейти на сторону Советов. Я знал, что мое место на той стороне, и если бы мой план удался, то дезертирством своим я бы отомстил за жертв нацизма.

Однажды такая возможность представилась, во всяком случае, я так думал. Мне было приказано незамедлительно

отправиться в одно место на захваченной территории, чтобы послушать брошенный русскими в спешке радиопередатчик. Он был в рабочем состоянии и принимал сообщения противника. Немцы надеялись получить сведения о планах контрнаступления русских. В окрестностях слышался постоянный пулеметный огонь. Окопы неожиданно привели меня на передовую.

Украдкой я осмотрелся, наметив возможный путь для побега. Передо мной раскинулась открытая, слегка покатая местность, на дальнем ее краю, примерно в двухстах метрах, стоял густой березовый лес.

Я все больше волновался. Только двести метров до моего освобождения. Как сделать первый шаг?

Я был окружен немецкими солдатами, они зорко за мной наблюдали, но не потому, что подозревали в желании сбежать, нет, они боялись, как бы со мной что-нибудь не случилось. Они постоянно твердили мне о том, чтобы я не полагался на каску и не высовывал голову из окопа. Вокруг было много свежих могил, скрывавших еще теплые трупы немецких солдат. Над ними стояли связанные крестом березовые ветки с надписью «Погиб за фюрера, народ и отечество». Когда мы добрались до передатчика, меня попросили надеть наушники и переводить то, что я услышу. Я колебался: переводить ли слово в слово или изменить значение услышанного так, чтобы информация показалась не особенно ценной?

По счастливой случайности понять хотя бы слово все равно было невозможно из-за непрекращающихся помех. И все-таки я смог ухватить несколько слов, которые, однако, не содержали никакого особенного смысла. Симулируя усердие и интерес, я попросил связиста лучше настроить передатчик, но он только покачал головой и выругался. Я понял, что ничего сделать нельзя.

Меня решили вернуть в часть, и все просьбы оставить меня здесь еще хоть немного, ни к чему не привели. Я отговаривался тем, что я первый раз на фронте и хочу еще понаблюдать за происходящим. Настоящим моим желанием было, конечно, дождаться наступления ночи и при первой возможности уползти в лес. Но сопровождавшие меня солдаты не смягчились и потребовали следовать с ними. «Военные действия могут в любой момент снова возобновиться, тогда начнется ад. И только дурак останется здесь по доброй воле, если только ему не прикажут», — сказал, улыбаясь, один из них.

Мне, увы, не удалось избавиться от провожатых, и я довольствовался молитвой и надеждой на более удобный случай.

Разочарованный, я вернулся в часть. Солдаты интересовались подробностями опасного задания, на котором мне была отведена

главная роль. Я заливал вовсю, и мой рассказ пришелся им по душе. Я вырос в глазах сослуживцев.

Случай дал понять, насколько они меня уважают. У меня были небольшие трения с одним солдатом, которого все недолюбливали за то, что тот никогда не мылся и постоянно дурно пах. Мы друг на друга накричали, и вдруг он вспылил и заявил, что я веду себя как еврей. Реакция других не заставила себя ждать. Его окатили водой, обругали за бессовестность и потребовали, чтобы он передо мной извинился. Я был и удивлен, и смущен. «Виноват» он был лишь тем, что невольно дал мне в очередной раз понять: моя безопасность и моя жизнь висят на волоске.

Великий Боже! Если бы они только знали, что этот грязнуля прав!

Так случилось, что на этой неделе солдаты, воевавшие на Восточном фронте, впервые испытывали горечь поражения. Блицкриг оказался на поверку длинным и мучительным. Они ожидали легкой победы и с восторгом рассказывали о быстром разгроме поляков и французов. Брызгая слюной, они всячески превозносили эту «легкую» войну. Но объективная реальность не совпадала с радужными иллюзиями. Вскоре стало известно о том, что заявление командования армии об отставке советского руководства в Москве оказалось уткой, а Сталин принял на себя руководство обороной города. Устояли и укрепления из бетона и стали, построенные вокруг Ленинграда. Об этом мы узнали из противоречивых, сбивающих с толку новостей. К тому же начинала давать о себе знать русская зима. Солдаты знали о поражении Наполеона в 1812 году.

Еще больший страх овладел ими, когда они узнали о том, что высшее командование и службы обеспечения надлежащим образом не подготовились к войне в зимних условиях. Наступление частей вермахта затягивалось, однако войска продвигались вперед, сокрушая все на своем пути. Вспоминаю, как грустно мне было смотреть на бронетранспортеры и танки, давящие гусеницами золотые поля спелой пшеницы. И я с тайной радостью наблюдал, как колосья пытались вновь выпрямиться. Некоторым это удавалось, как будто они говорили: «Мы тоже не склонимся перед поработителями. Мы не сдадимся оккупантам!»

И я тоже не сдамся! Я, еврейский мальчик Соломон, я не сдамся им легко!

Между тем мы остановились на постой в одной большой деревне к северо-западу от Смоленска. Решено было предоставить нам три свободных дня. Интенданты части бог знает откуда притащили забитую свинью. Достали большой котел, ведра и ушаты для бани и стирки обмундирования. Мы были потные и пыльные. Самую большую из покинутых крестьянских изб с огромной плитой на кухне несколько солдат превратили в комнату для мытья.

Вода в котле начала закипать, кухня быстро наполнилась паром и пением моющихся. Мылись вместе, по группам.

Само собой разумеется, из-за моего обрезания я не мог принимать участия в общем мытье. Ужасные сцены селекции еще остались в моем сознании и, наверное, никогда не исчезнут. Под разными предлогами я уклонялся от предложения присоединиться к той или иной группе и терпеливо ждал, пока последний человек не покинет кухню.

Снабженный полотенцем, куском мыла и чистым нижним бельем, я вошел в помещение и тщательно прикрыл дверь. Встал в ушат, горячая вода доходила мне до колен. На улице один солдат играл на губной гармонике, и в то время, как я мылся, я весело напевал мелодию из «Паяцев».

Вдруг я остолбенел. Вплотную около меня кто-то шептал. Еще я не понимал, что происходит, как кто-то сзади меня обнял. Я почувствовал, как чье-то голое тело прижалось ко мне. Я замер. В моем мозгу пронзительно звучали тысячи тревожных сигналов. Когда возбужденный член хотел уже войти в меня, я выскочил, как укушенный змеей. Умнее, наверное, было бы остаться стоять спиной, но я инстинктивно освободился от объятий. Одним прыжком я выскочил из ушата и, как был голым, быстро обернулся.

Передо мной стоял Хейнц Кальценберг, военный врач. Его лицо залилось темно-красным цветом, оно выражало смущение. Он натянуто улыбнулся. Глубокая тишина стояла в помещении. Пару минут мы стояли друг напротив друга, голые, как в первый день жизни.

Случилось то, что должно было случиться. Его взгляд скользнул по моему телу сверху вниз и остановился ниже живота. Он изумился и удивленно спросил: «Ты что, еврей, Юпп?» Меня парализовал страх. Я пролепетал: «Мама, папа, придите, помогите мне!» Я разразился слезами: «Не убивай меня! Я молод и хочу жить!»

Картины ужасов, которые я наблюдал в течение нескольких дней, быстро сменялись в моей памяти. Мы находились в маленьком русском селе. Люди из военной жандармерии, которые относились к нашей части, приказали сельским женщинам закрыть всех кошек в одном покинутом доме. А потом началась бойня. Я никогда не забуду, с каким диким удовольствием они расстреливали бедных животных через полуоткрытые окна. Спасаясь от пуль, кошки бежали в задние углы, делали огромные прыжки и страшно мяукали, пока не наступила смертельная тишина.

Ну а теперь я стоял голым и безоружным перед немецким офицером, был мячиком в когтях гигантской, все уничтожающей машины и ждал смертельного приговора. Может быть, в исполнение его приведут тем же револьвером, из какого расстреливали бедных кошек. И если он не расстреляет меня на месте, то передаст в руки военной жандармерии. Для них это рутина: сорвать с подозрительного человека одежду, повесить на шею табличку с надписью «Я был партизаном», затем вздернуть на виселице на рыночной площади или на обочине дороги. Делалось такое с целью напугать местных жителей, воспрепятствовать присоединению их к партизанам, которые стали организовываться, несмотря на присутствие немцев.

В то время как я пишу эти строки, на память мне приходят те минуты, которые я считал последними… Моя рука дрожит, и я откладываю перо, чтобы успокоиться.

Хайнц приблизился ко мне, нежно обнял, положил мою голову себе на грудь и с нежностью сказал: «Не плачь, Юпп, тебя не должны услышать на улице. Я тебе ничего не сделаю и другим твой секрет не выдам. Знаешь, есть еще и другая Германия!» И прежде чем покинуть помещение, заручился моим обещанием не открываться никому, и прежде всего моему будущему приемному отцу, гауптману фон Мюнхов.

Я закончил мытье, вытер слезы и вышел, уверенный, из

кухни. Я одержал победу над злом. Моя глубокая тайна была сохранена настоящим другом. Он протянул мне руку, когда я потерял остаток веры в человечество, и я с удивлением для себя открыл, что не все, кто меня окружали, убежденные нацисты.

Потом мы с Хайнцем сидели поддеревом вдали от остальных. Рассказал я ему все с самого начала: о своих родителях, о нашем изгнании из Пайне… ничего не скрыл. Он сочувственно слушал. Мне было 16, ему — 30 лет, и мой рассказ его глубоко тронул. Сексуальные домогательства прекратились, возникла настоящая сердечная дружба. Он обещал после войны взять меня к себе домой. Мою тайну мы поклялись никому не выдавать.

Прошло несколько недель, как случилось ужасное несчастье. Быстрое продвижение отрядов вермахта привело к остановке в окрестностях Москвы. Затем бои перешли в позиционную стадию. Наступили последние дни осени.

Высшее военное руководство решило: если невозможно быстро прорваться в Москву, достаточно захватить Ленинград. Уже несколько месяцев город находился в окружении. Дивизия, в которой я служил, была отправлена на север, чтобы принять участие в этой операции. По дороге прошел слух, что после победы в России мы все получим отпуск, чтобы набраться сил, и потом нас передислоцируют во Францию. Эту информацию распространяли, чтобы поддержать солдат. Начались нескончаемые споры о французских винах, о знаменитой французской кухне, о женщинах, которых ни с какими другими в мире не сравнить. Каждый рисовал себе фантастические картины. Сожалею, что не записывал тогда эти невероятные фантазии. Да и сам я, прислушиваясь к разговорам, мечтал о Франции и ее чудесах, желая оказаться там. Я не испытывал ни малейшего желания оставаться на фронте, где мне постоянно грозит смерть от осколка гранаты или шальной пули. Умереть в форме моих врагов от пули моих друзей! Хотя какая разница, от чьей пули умереть?

Через некоторое время мы добрались до лесов в окрестностях Ленинграда и стали готовиться к наступлению. Чтобы прорвать оборону города, требовались «голиафы», техническая немецкая новинка того времени[12]. Это были небольшие управляемые по проводу машинки, наполненные динамитом, самоходные мины, которые могли проникать в бункеры и там взрываться.

Однако все они до единой потонули в болотах, окружавших Ленинград. Большего провала невозможно было себе представить. К тому же русские тоже изобрели простую, но очень эффективную машину «Железный Иван» — двухмоторный бронированный

самолет. Ночью на бесшумном бреющем полете он пролетал над немецкими колоннами, причиняя значительный ущерб. После того как сбрасывались бомбы, почти всегда попадавшие в цель, из самолета открывали пулеметный огонь. Нам приказывали выпрыгивать из бронетранспортера и стрелять по самолету. Это было бессмысленно. Отчетливо помню эти сцены, повторявшиеся почти еженощно, помню крики и щелканье затворов, стрельбу по самолетам над нашими головами. В таких случаях любой большой предмет подходил для меня в качестве укрытия, и, согнувшись, я наблюдал этот странный сюрреалистический спектакль.

Но, несмотря на все неудачи и потери, немцы не намерены были отступать от Ленинграда. Наша часть остановилась в Шлиссельбурге, откуда уже видны были крыши города. Я вновь оказался на передовой. Повсюду велись усиленные военные приготовления. Батареи тяжелых орудий установили позади наших позиций, в то время как танки были выдвинуты вперед. Все окапывались. Унтер-офицеры были откомандированы на командные посты, чтобы получать указания. Час Х был назначен на следующее утро на рассвете. Среди солдат росли нервозность и напряжение. Все хотели быстро победить, остаться в живых и дожить до обещанных романтических каникул во Франции.

Ночью «Железный Иван» сбросил листовки, подписанные маршалом Ворошиловым. Советы сообщали, что Ленинград будет обороняться до последнего выжившего. Действия врага теперь проходили совсем не так, как думали немцы. За час до нашей атаки русские открыли огонь. Наши позиции попали под массированный обстрел мортирами и гранатометами, что привело к гибели многих людей и к существенным потерям техники.

В шоке я застыл на месте, не пытаясь спрятаться. Хайнц видел, в какой я опасности. Одним прыжком он бросился на меня и силой оттащил под танк, стоявший возле высокого здания. Под ним уже лежали танкисты в черных от копоти униформах. Мы втиснулись между ними, чтобы найти себе место. Воздух был полон дыма и ядовитой гари.

Через несколько минут Хайнца позвали на помощь раненым. Перед тем как выбраться наружу, он приказал мне не двигаться с места. Я видел, как он, наклонившись, бежал к раненым. Вдруг раздался страшный грохот, сопровождавшийся ослепительной вспышкой. Я прижался к земле и закрыл голову руками. Крики разрывали воздух. Я поднял голову и неподалеку от себя увидел Хайнца, лежавшего на спине с залитым кровью лицом. Я подполз

к нему и обнял. Кто-то попытался заткнуть глубокую рану, зиявшую на его шее, и перекрыть артерию, из которой фонтаном била кровь. Напрасно. Его широко раскрытые глаза смотрели на меня, он что-то бормотал, но я не мог разобрать. Он потерял сознание и умер у меня на руках. Может, он хотел попрощаться со мной, или попросить прощения? Этого я никогда уже не узнаю. И без того я его простил и буду помнить о нем до последнего дня.

Смерть Хайнца вновь сделала меня сиротой. Снова я почувствовал себя бесконечно одиноким. Я потерял своего единственного товарища. С этой внезапной смертью ушли надежда и крепость духа, а они мне были крайне необходимы. Нас связывала тайна, и наши отношения были основаны на абсолютном доверии. Все это он унес в могилу. Я не мог примириться с его смертью… Много было раненых и погибших, значительная часть техники была уничтожена или серьезно повреждена. Прошло, наверное, меньше часа после начала атаки русских, как был отдан приказ: «По машинам!»

Отступление. Впервые гордые завоеватели вынуждены были отступить. Никто уже не обращал внимания на дисциплину, внешний вид и верхнюю застегнутую пуговицу. Все пришло в беспорядочное движение, наскоро собирали остатки пригодного вооружения.

Потом мы бежали сломя голову от русских пушек. Не раздумывая, я решил воспользоваться благоприятным моментом и дезертировать: подождать, пока скроется из глаз последний немецкий солдат, и тогда с поднятыми руками перейти на сторону русских. Сердце учащенно билось от того, что представилась, наконец, такая возможность. Но и на этот раз судьба распорядилась иначе.

Я спрятался в бараке, надеясь, что в царившей вокруг суматохе никто не заметит моего отсутствия. Через дыры в стене я наблюдал хаос, в каком готовилось отступление. Машина гауптмана фон Мюнхов была готова к отправке. Вдруг ефрейтор Герлах заорал: «Юпп, давай быстрее! Сейчас не время срать!» Дальше прятаться или пытаться бежать было невозможно, слишком много глаз смотрело в мою сторону. Я вышел, делая вид, будто и вправду справлял нужду, застегивая брюки и поправляя ремень. Мне бросили каску. Когда я сел в машину гауптмана, меня упрекнули в легкомыслии, добавив, что наказали бы меня, будь я солдатом. Но по едва заметной улыбке я понял, что эту угрозу не следует воспринимать слишком серьезно. Все мои попытки бежать до сих пор оканчивались неудачей. Так было и в Пайне, и в Лодзи, и в Гродно, и в тот момент, когда я возился с русским передатчиком, и теперь, в Шлиссельбурге. Но я все-

таки не терял надежды…

Ленинград не был взят. Героизм жителей города, солдат и защитников заслуживают безграничного восхищения.

Нашу часть передислоцировали в Эстонию. Там мы должны были собраться с силами, принять пополнение и получить взамен утраченного во время артобстрела русскими новое вооружение.

Меня назначили переводчиком в отдел штаба, который занимался обеспечением армии продовольствием. Он находился в самом центре Ревеля (ныне Таллин). Мы были поражены красотой местной архитектуры. 722-я часть занимала прекрасное городское здание. Рядовые жили в комнатах по двое, офицерам предоставили более просторные квартиры. В нашу задачу входили сбор и доставка продовольствия для всего Северного фронта. Наполненные продуктами грузовики прибывали из многих областей Эстонии. Русские пленные грузили железнодорожные вагоны, которые отправлялись на фронт.

Пленных содержали в небольшом лагере. Каждое утро их выстраивали на плацу для того, чтобы разделить на рабочие группы. Я должен был переводить им приказы с перечислением видов дневных работ, дисциплинарные предписания, а также оглашать наказания в случае нерадивости или воровства.

Среди пленных, находившихся в том лагере, была небольшая группа, которую составляла своего рода элита. Люди, входившие в нее, выглядели интеллигентно и были в хорошей физической форме. Между ними и мной завязались дружеские отношения. Много раз я закрывал глаза на то, как кто-нибудь из них прятал батон колбасы в свои широкие штаны или вдруг неожиданно исчезал большой кусок копченого мяса. Я лишь улыбался и переходил к выполнению следующего задания по распорядку дня.

Один из пленных все-таки доставил мне немалое беспокойство. Называли его, конечно, тоже Иваном, как позже, когда ситуация полностью изменилась, русские звали всех немцев Фрицами. Он подошел ко мне в станционном бараке во время перерыва: «Странно, вы единственный, кто не произносит грассирующее „р“. У вас выходит гортанное „кх“, как это типично для евреев. Вы говорите, например, „Абкхаша“ вместо „Абраша“». Не моргнув глазом, я ответил, что не понимаю, чего он хочет, и указал ему на то, что он вместе со своими товарищами должен вернуться к работе. Каждый пошел своей дорогой, и эта тема больше не поднималась. Но было очевидно, что он догадался о моем настоящем происхождении. Мысль о том, что своими словами он может посеять подозрение в головах у других, сильно меня обеспокоила. Но я научился держаться перед лицом

смертельной угрозы, постоянно висевшей надо мной, и как-то ее обходить. Наконец, я никогда не давал русским повода усомниться в том, что я настоящий немецкий солдат.

В Ревеле я познакомился с одной милой молодой девушкой на пару лет старше меня, звали ее Лее Моресте. Она жила по адресу Вирувэлиак, 3. Почти каждый вечер я заходил к ней. Однажды ее мать спросила: «Почему вы, немцы, так ужасно относитесь к евреям?» В этот момент множество мыслей пронеслось у меня в голове, и первой было: не открыться ли? Но я промолчал и решил оставаться в ее глазах немцем. Ситуация была опасной, а ее возможная реакция непредсказуемой. Я только ответил, что мне тоже это не по душе, но сложно что-либо изменить. Не забуду фрау Моресте за ее справедливый вопрос. А ее дочь Лее не забуду, потому что она стала первой в моей жизни женщиной.

Время от времени гауптман фон Мюнхов навещал меня или справлялся обо мне у других. Он радовался, когда слышал, что у меня все в порядке и что пребывание здесь и работа мне нравятся. Но последняя новость, которую он мне передал, понравилась мне меньше. Выяснилось, что армия не нуждается во мне, потому что я был еще несовершеннолетним. Последовал приказ как можно скорее отправить меня домой, в Рейх. Мне в сопровождающие назначили некую женщину, которая и должна была вскоре прибыть. О, я ни на секунду не желал оказаться в стране, кишевшей гестапо и полицией. Это было все равно что забросить меня в пещеру ко льву. Я знал, что в случае опасности там не смогу ни спрятаться, ни убежать. Господин гауптман выразил удовлетворение тем, что мне позволено вернуться на родину. Я с трудом выслушал его до конца, изобразил вымученную улыбку и пробормотал слова благодарности.

Мое смущение он, вероятно, расценил как следствие приятного сюрприза. А теперь я должен был вернуться в часть и ждать приказа о переводе, выправления всех необходимых документов, и со всеми попрощаться.

Русские военнопленные по-настоящему сожалели о моем скором отъезде. В части меня снабдили в дорогу несколькими бутылками хорошего ликера и одной бутылкой прекрасного французского коньяка. В городе, в котором располагалась наша часть, были видны следы готовившегося весеннего наступления. Я получил характеристику, подписанную адъютантом командующего дивизией полковником Беккером. Содержание этого документа меня удивило. Среди прочего там было написано следующее: «Мы удостоверяем, что немец Йозеф Перьел утратил все свои документы в результате обстрела русской артиллерии».

Понимать написанное следовало так, что пропали они уже после того, как я их предъявил! По ошибке ли так было написано или намеренно, для того, чтобы избавить меня от лишних вопросов? Ответа мне теперь не узнать, а в тот момент я не задавал вопросов.

Как бы то ни было, а в версии о моем происхождении уже нельзя было усомниться. Далее в документе говорилось о моем примерном поведении, чувстве юмора и храбрости, проявленной на фронте. Кроме того, соответствующим органам давалось указание оказывать мне содействие в трудоустройстве по месту прибытия.

Такой документ был, очевидно, ценнее всех прочих бумаг. Я почувствовал себя увереннее. Уважение и внимание со стороны тех, кто впоследствии держал его перед глазами, заметно улучшили мое психическое состояние. Между тем офицер, который получал приказы по городу Ревель, сообщил мне о прибытии сопровождающей.

Ставки сделаны. Я должен был покинуть тех, к кому успел привязаться. Да, я не мог не отозваться добрыми чувствами на их симпатию ко мне. И все-таки в глубине души ненавидел их и боялся, ведь они были солдатами вермахта и совершали преступления. Гауптман фон Мюнхов принял меня для прощальной беседы, я пообещал ему списаться с его женой. Он попросил меня как можно скорее сообщить ему мой новый адрес и пожелал счастливого пути.

Как мне только удалось больше года прожить в подразделении немецкого вермахта, известного весьма строгой дисциплиной и скрупулезным выполнением приказов? Никто не пытался выяснять мое настоящее происхождение, никто не высказал даже тени сомнения в предложенной мною версии. Никто не наводил справки о моих подлинных документах (хотя мой «родной» город Гродно находился совсем неподалеку), а также о том, почему я примкнул к потоку беженцев. Почему никто меня не расспрашивал, не подозревал, не проводил расследования?..

Мне приказано было явиться к военному коменданту города. Там меня ждала прибывшая из Берлина секретарь отдела трудоустройства из ведомства по делам молодежи.

Она оказалась симпатичной блондинкой лет тридцати пяти, одетой в красивый форменный костюм бежевого цвета. На ее широкополой шляпе красовалась свастика, а на пальто — многочисленные партийные значки. Я почувствовал неприятное ощущение в животе. Моя характеристика вызвала у нее восхищение. С этого момента между нами установились

доверительные отношения. Я выслушал рассказ о цели ее миссии, но из-за сильного волнения до меня дошла лишь половина. Мы договорились купить мне гражданскую одежду и кое-что из личных вещей.

На следующий день без лишних формальностей мы сели в комфортабельный поезд, который вез солдат в отпуск на родину. Купе были почти пустые, лампочки были закрашены в целях светомаскировки. Не слышно было ни звука. Настроение мое было подавленным. Нам предстояло длительное путешествие. Мы ехали в Берлин через Латвию, Литву и Восточную Пруссию, что в общей сложности составляло три дня.

До сих пор я боялся путешествия в страну тысячи опасностей, в страну, где правил дьявольский режим, но должен признаться, что был ошеломлен, войдя в купе. Я покорился своей судьбе. Я рассчитывал на «всемогущую невидимую руку», определявшую мой путь, и отдался ей с полным доверием и покорностью.

Вспоминаю счастливое, сияющее лицо моей сопровождающей, ее нескрываемую гордость за порученное ей задание вернуть немецкому отечеству потерявшегося сына. Она не могла себе представить, что везет маленького еврея, сына Моисея. Я старался как можно меньше говорить. Наша вежливая беседа очень быстро перешла в монолог.

Она произносила бесконечную речь о величии Германии, держа при этом мою руку в своей, иногда поглаживая. Что не мешало ей одновременно петь хвалебные гимны немецкому народу и его фюреру. Один момент мне показался совсем не смешным. Она попросила меня посмотреть на пасущихся за окном поезда коров и обратила внимание на то, какие они грязные. Она говорила, что в отличие от этих все немецкие коровы чистые и ухоженные. От грязных коров она перешла к чистоте народа, к которому я имею счастье принадлежать. Еще она добавила, что мы составляем элиту и призваны под руководством Гитлера спасти все человечество.

Этой энергичной женщине не терпелось, она старалась сделать из меня убежденного национал-социалиста еще до того, как мы приедем в страну. Она говорила без остановки. Только еда и сон могли прервать поток ее восторженных слов.

Во вторую ночь нашей поездки произошло нечто необычное. Мы сидели одни в темном купе. Атмосфера была непринужденной, беседа становилась все более интимной. Я понял, что понравился ей, а мои черные волосы были для нее особенно соблазнительными. Как солдат, вернувшийся с фронта, я кое-чему там научился, так что отплатил ей несколькими комплиментами. Вдруг она легла на полку, притянула меня к

себе и покрыла страстными поцелуями, бормоча что-то невразумительное. Мне уже было 17 лет, и рассказы моих сослуживцев чисто теоретически с подобными ситуациями меня ознакомили. Близок я был только с Лее Моресте. Я не мог сопротивляться взрыву желания моего молодого организма. Она меня очень возбудила, и эти страстные объятия привели меня к разрядке, хотя мы так и не переспали. Потом мне ударило в голову: «Если бы она только знала!..»

До сих пор я сожалею, что не мог открыть ей правду, принимая во внимание обстоятельства. Когда я еще жил в Пайне, то часто слышал о «расовом позоре». Немецкой женщине это вменяется как тягчайшее преступление. Тогда я про себя заметил: «Вот, фрау наци, вы тоже с одним евреем… занимались любовью!» Она, думаю, наложила бы на себя руки, если бы узнала.

На следующий день мы прибыли в Берлин. Некоторое время, пока не было решено, куда меня направить, я жил в хорошем отеле и занимался тем, что осматривал город. Постояльцы отеля вселяли в меня ужас. Это были высшие офицеры, руководители штурмовиков, эсэсовцы в униформах с черепами, руководители СА в брюках галифе, коричневых рубашках с черными галстуками, черных сапогах, а также люди в гражданском с короткими стрижками, перед которыми дрожали евреи и демократы. Сейчас я был для них лишь потерявшимся ребенком, который приветствует их: «Хайль Гитлер!»

Руку для приветствия я вскидывал постоянно, поднимаясь по лестнице отеля или входя в помещение. На лацкан моего нового костюма сопровождающая с удовольствием прикрепила круглый, бросающийся в глаза значок — свастику в золотом лавровом венке.

Теперь я выглядел вполне своим. Все видели меня отдающим нацистское приветствие. Должен признаться, что все это, как ни удивительно, начинало мне нравиться.

Сегодня, почти через пятьдесят лет, мне ясно, что во мне тогда происходил некий процесс. В этом отеле появился тот росток, который позже позволил мне вести себя в соответствии с национал-социалистической идеологией.

Представьте мое тогдашнее душевное состояние. В мире свастик я пытался как мог оттянуть висевший надо мной смертный приговор, прожить хотя бы еще один день, еще один час, месяц, может быть, год… Я просто хотел выжить. Любой ценой уберечься от идеально устроенного механизма уничтожения. Но против него у меня не было никакого иного

оружия, кроме их униформы и их знаков отличия. И если я все еще жив и могу рассказать эту историю, то лишь благодаря тому, что научился вести себя как они, безо всяких колебаний играя роль нациста. Я полностью положился на свой инстинкт самосохранения, и он постоянно подсказывал мне правильное поведение. Мое настоящее «я» вытеснялось все дальше и дальше. Бывало, я даже «забывал», что я еврей.

Ничто не мешало мне тогда наслаждаться обществом моей сопровождающей и достопримечательностями Берлина. Я даже первый раз в жизни сходил в оперу. В берлинской опере давали «Тангейзера» Рихарда Вагнера, действие которой продолжалось пять часов. Все это время я, затаив дыхание, слушал великую музыку. Я был заворожен декорациями и атмосферой.

Тем временем мне сообщили место моего дальнейшего пребывания: интернат в Брауншвейге. Я хотел было закричать: «Нет, только не туда!» Пайне, где я родился, находился в непосредственной близости от этого города. Там могли бы опознать соседского еврейского мальчика Салли. Германия такая большая, в ней столько городов и интернатов! Почему судьба выбрала именно этот город? Почему она так беспощадно смеется надо мной?

Я запретил себе об этом думать и изобразил на лице радостную улыбку. Когда я пришел в себя от шока, то сказал себе: «Похоже, что мой жизненный путь проходит по кругу, потому я и попадаю в исходный пункт».

Шесть лет назад я не по своей воле покинул Пайне и попал в Лодзь. Оттуда через два года опять бежал. Потом новый побег, на этот раз в Минск. Затем под вымышленным именем добрался до самой Москвы, до Ленинграда и Таллина, а теперь меня везут в место, расположенное близ моего родного города. Уехал я как Салли, возвращаюсь как Йозеф. Неужели и вправду это я? Я отправился в путь ребенком, а теперь я — молодой человек с другим именем и, несмотря на все это, я остался самим собой. На протяжении многих лет один вопрос не выходил у меня из головы: «К чему это может привести?» Почему на мою долю выпала честь находиться в сопровождении специальной служащей?

Ответ на свои вопросы я получил, когда в 1987 году, уже много лет живя в Израиле, был приглашен как Йозеф Перьел в Хеппенхайм, что неподалеку от Франкфурта, на первую встречу с бывшими товарищами по 12-й Померанской танковой дивизии. Однако появился я там как Салли Перел. На встрече мне рассказали, что Генриетта, племянница Иоахима фон Мюнхов,

дочь личного фотографа и советника Гитлера по искусству Генриха Хофмана, была замужем за Бальдуром фон Ширахом, который возглавлял Управление по делам молодежи в Третьем рейхе, позже осужденный в Нюрнберге. Генриетта фон Ширах связалась со мной после того, как узнала о моей истории из средств массовой информации. Она прислала мне свою книгу «Цена величия» и выразила настойчивое желание встретиться. Она хотела мне что-то передать. До встречи дело не дошло. Она умерла в начале 1992 года. Об этом я узнал, когда в феврале того же года в Мюнхене навел о ней справки. Благодаря племяннице фон Мюнхов я вышел на сотрудника руководства управления по делам молодежи рейха, который послал меня в Брауншвейг с уже известной вам сопровождающей. Таким образом, только в 1987 году я узнал, что у меня была протекция такого высокопоставленного лица. Вот откуда появились выпавшие на мою долю привилегии.

На вокзале в Берлине я простился с моей сопровождающей и обещал ей писать. Потом сел в поезд до Ганновера, где должен был сделать пересадку на поезд, следующий в Брауншвейг. Поезд ехал мимо станций, переполненных отпускниками с фронта. Всюду я видел лозунг «Колеса крутятся для победы».

Всю поездку я смотрел в окно, желая выяснить, права ли была моя сопровождающая насчет немецких коров? Да, чистые они. И что с того?! Этим, что ли, оправдано зверское поведение большинства ее соотечественников?

Я был погружен в свои мысли, когда поезд в очередной раз остановился. О, Боже мой, это место я так хорошо знал! Тут же я увидел надпись «ПАЙНЕ». Странное чувство охватило меня. Здесь началось мое печальное путешествие на восток, и сюда же судьба забросила меня вновь. Воспоминания, связанные с этим вокзалом, относились к моему прежнему «я» и будили во мне щемящую тоску по дому.

Мой взгляд остановился на вокзальной вывеске. Белый фон был закопчен. Коричневое облако закрывало небо, причиной тому был прокатный завод, на который жители жаловались еще в прежние времена. Я увидел шлагбаумы, преграждающие движение транспорта по обеим сторонам от железнодорожных путей. Автомобили останавливались, велосипедисты одной ногой становились на землю, дети радовались паровозному дыму. Я хотел все впитать, внимательно всматриваясь в каждую деталь пейзажа. Поезд отошел. Это положило конец непереносимому виду на город моего детства.

Чуть позже я прибыл в Брауншвейг и направился, как было

мне приказано, к начальнику вокзала. Как только я вошел, двое молодых людей в коричневой форме со значками СС на груди, в черных сапогах и со свастикой на рукаве тут же поднялись с места. Я испугался. Мне ударило в голову: если меня встречают такие люди, где же я окажусь, в чьи руки попаду?

С едва заметной улыбкой они спросили, не я ли Йозеф Перьел из Берлина. Я кивнул в ответ, и меня попросили следовать за ними. Очень вежливо они помогли мне донести до машины багаж. Мы сели в новый «фольксваген» и тронулись в путь. В моей голове стоял такой туман, что на все их дружелюбные расспросы, которые я не до конца понимал, отвечал только «да» или «нет».

Когда я рассматривал улицы города, полные упитанными людьми, меня преследовало ощущение, будто я оказался в стране каннибалов, которые ждут меня, словно лакомое блюдо. Мысли мои путались, и я чуть было не спросил: «Куда мы едем?» Но промолчал, голос выдал бы мой страх.

Почти через полчаса мы оказались на месте. Машина остановилась перед большим современным зданием. На фасаде развевались нацистские флаги. Не забуду страха, пробежавшего по моему телу.

Здание было в прекрасном состоянии. Огромный внутренний двор предназначался для собраний, за стелой с бронзовой статуей героя находился флагшток. Двор окружали двухэтажные жилые корпуса. Между ними находились бассейн, гаревые дорожки, различные снаряды для занятий легкой атлетикой и командными играми. Надо всем этим возвышалось высокое здание в неоготическом стиле, на фронтоне которого можно было прочесть: «Сила в радости». В этом здании находилась столовая. Множество светловолосых парней переходили площадь, все одеты были в черные брюки и коричневых рубашках со свастикой.

Мне было ясно, что я попал в логово льва. Если, не дай Бог, они обнаружат, что я еврей, то разорвут меня на части, как хищные звери. Этот ужасный страх поселился во мне, и я до сих пор его чувствую.

Меня направили в канцелярию банфюрера Мордхорста. Тот предстал передо мной во всем своем великолепии, окруженный преданными подчиненными. Он приветствовал меня кратким: «Хайль Гитлер!» Мне ничего не оставалось, как собраться, вскинуть руку вверх и ответить: «Зиг Хайль!»

Мы сели, чтобы побеседовать и познакомиться. За банфюрером находился бюст Гитлера, глаза и усы были выполнены с особым старанием. Стены украшали фотографии марша молодежи во время партийного съезда в Нюрнберге. Мне задавали вопросы о сражениях и о «славных победах», в которых я

участвовал. До сих пор удивляюсь своему таланту рассказчика. Не запинаясь и не медля, в подобающих красках я описывал эпизоды «славных побед». Мои слушатели были очарованы. После моего рассказа, так привлекшего ко мне их внимание, слово взял банфюрер. Он рассказал, в каком заведении я оказался. Мои самые мрачные опасения подтвердились: я попал в школу гитлерюгенда, единственную в своем роде, готовившую нацистов-профессионалов. Этот «рыцарский замок национал-социалистического труда» преследовал три главные цели: воспитать руководящую смену для различных партийных организаций, обеспечить правильное политическое и техническое образование, а также вести эффективную пропагандистскую работу.

Фюрер, как мне объяснили, не придает особого значения общеобразовательным предметам. Он хочет подготовить молодых немцев в соответствии с теми требованиями, которые предъявляет к ним режим, и закалить их.

Я больше не мог следить за его речью, у меня свело живот, и я пустил в штаны пару капель.

Банфюрер добавил, что ученики сгруппированы по нескольким интернатам в соответствии с предметами: патрулирование, морское дело, авиация, моторизованные отряды, служба информации. К сожалению, я не могу быть принятым в отделение СС, потому что мои темные волосы и 160 сантиметров роста не соответствуют предписанному стандарту. Последнее из сказанного банфюрером меня просто озадачило: ведь в моем возрасте я уже успел повоевать на фронте. Он успокоил меня, сказав, что абсолютно уверен в том, что фюрер и народ признают меня преданным членом гитлерюгенда.

Мне пришлось собрать всю свою силу, чтобы вскинуть руку в обязательном нацистском приветствии. И только благодаря тому, что во мне звучали последние слова матери: «Ты должен жить! Ты должен жить!» — я не упал в обморок.

Гитлерюгенд был одной из сторон кровавого треугольника СС — СА — ГЮ. Передо мной стоят образы этих кровожадных слуг рейха с их кинжалами, на которых были выгравированы слова «Кровь и честь» и с которыми они нападали на евреев и противников режима. И теперь я с ними!..

Я покинул канцелярию банфюрера. Мой непосредственный начальник, комендант общежития Карл Р., проводил меня в мое новое жилище, общежитие № 7, относившееся к технической службе. Своему сопровождающему я сказал, что после трудностей фронтовой жизни мне все нравится. Он был удовлетворен этим и сказал, что комплекс действительно красив, а главное здание

недавно возведено в «новогерманском стиле», который выбрал сам фюрер, и что это большая привилегия — считаться учеником такой уникальной школы.

Фасад общежития № 7 произвел на меня сильное впечатление. Помпезный вестибюль использовался как читальный зал. На четырехугольных столах лежали стопки газет, на полках у стен стояли многочисленные книги. Канцелярия коменданта находилась в главной части вестибюля, справа проходил широкий коридор, по обеим сторонам которого были комнаты. Заканчивался он умывальником и туалетами. Лестница слева от читального зала вела на второй этаж. На одной стене в глаза бросался плакат, написанный готическим шрифтом: «Будь твердым, как сталь Круппа, упругим, как кожа, быстрым, как борзая собака!» Комендант показал мне мою комнату, предложил устраиваться, немного отдохнуть, а потом прийти к нему в канцелярию.

Моя комната была второй справа. Две кровати, два шкафа, два письменных стола и стулья. Здание и комнаты в этот час были пусты. Со стены над моей кроватью на меня поучающе глядела формула «Чистоты германской крови».

Комната была просторной и удобной. Я положил вещи в угол, закрыл глаза и глубоко вздохнул. В давящей тишине я слышал, как бьется мое сердце.

О Всевышний! Что со мной будет? Какой способ выживания Ты мне готовишь? Я должен смеяться или плакать? Нет, только не плакать, мне нужно только мужество. Мужество! Во всяком случае, я должен забыть в себе Шломо и начать превращаться в гитлерюнге, в настоящего Йозефа.

Я стал устраиваться. Очень спокойно распаковал вещи и в строгом порядке разложил их в пустом шкафу. Оставил только бутылку французского коньяка, так как хотел подарить ее коменданту. Я знал, что алкогольные напитки, особенно такого качества, здесь вряд ли доступны, так что мой подарок наверняка обеспечит его уважение и поможет освоиться.

Я бросил взгляд на кровать, хотелось немного отдохнуть и собраться с мыслями. Вдруг жгучее любопытство заставило меня взглянуть на умывальные комнаты и туалеты. Конечно, мне было понятно, что я не смогу принимать душ вместе с другими соучениками, никто не должен обнаружить мое обрезание. От этой мысли я содрогнулся. Я хотел осмотреть это место, пока не вернулись мои одноклассники.

Я был приятно удивлен: мои опасения преувеличены — душевые кабины были разделены толстым матовым стеклом. Это меня успокоило. Помещения для переодевания мне понравились

меньше. Раздеваться и одеваться я должен был вместе со всеми.

Итак, я стал обдумывать, каким образом можно было бы легче избежать опасности. Я вошел и запер дверь. Все было чисто и блестело как новое. На одной стене кто-то попытался процитировать Гете: «Не нарушай спокойствия, подумай об изречении Геца фон Берлихингена: „И передай королю, чтобы он поцеловал меня в жопу“».

Этот понятный тезис я прочел еще раз и, когда вышел в коридор, решил с этого момента его придерживаться.

За свою короткую жизнь я уже научился приноравливаться к неожиданным трудностям и преодолевать их. У меня была уверенность: уж если мне удалось выдать себя за храброго фронтовика, я также смогу решить проблему обрезания и стать безупречным членом гитлерюгенда.

Я вернулся в свою комнату и стал готовиться к разговору с комендантом. Позволил добавить к своей биографии еще немного смеси из правды и выдумки. Потом я взял бутылку коньяка и отправился в канцелярию коменданта Карла Р. Уже в коридоре я услышал смех. Настроение, казалось, было веселым. На минуту я застыл, чтобы собраться и быть во всеоружии. Я знал, что теперь предстану перед своим непосредственным начальником, а также перед незнакомцами, которые мне инстинктивно казались опасными.

Бутылку я взял в левую руку, чтобы правую освободить для приветствия. Как только я услышал «яволь», самоуверенно вошел в комнату. Я поприветствовал всех по протоколу и после того, как опустил руку, с гордой улыбкой сказал, указывая на бутылку: «Это отличный французский коньяк, подарок фронтового полка!»

«Ради Бога! — сказал комендант. — Это должно немедленно исчезнуть. Ты должен знать, что в нашем движении запрещены алкоголь и курение. Фюрер, наш высший пример, не пьет и не курит». Я быстро справился с удивлением и со смущенной улыбкой поставил бутылку в угол. Кто-то прошептал за моей спиной: «Ну, это не так плохо, я слышал, что он уже был солдатом».

Комендант предложил мне сесть. Передо мной сидели другие руководители общежития. Когда я вошел в комнату, они прервали свою громкую беседу и посмотрели на меня. Их коричневую форму и безупречные черные галстуки украшали различные спортивные и партийные значки. Мое внимание особенно привлекла широкая черная повязка с большой свастикой на рукаве. Мне удалось сохранить голову холодной, и никто не заметил моего страха, хотя он был теперь сильнее прежнего, ведь я имел дело с высшими офицерами вермахта. Было очевидно, что

эти люди бесконечно уверены в правильности той идеологии, которая подвигает их совершать преступления против человечества — таковой была их патриотическая миссия в интересах «Великой Германии».

Комендант объявил собравшимся, что я тот самый фольксдойче, о котором они как раз говорили, и что я послан им вермахтом. Тут же посыпались вопросы. Мои четкие ответы их удовлетворяли. Конечно, я не говорил о цинизме, который начал распространяться среди солдат перед моим отъездом: «От этого тошнит, господин майор, весь фронт стоит наперекосяк!» Ничего я не сказал и о первых признаках провала блицкрига. Они все еще без удержу удивлялись стратегическому гению фюрера. Это ослепление продолжалось до конца войны в мае 1945 года. Даже страшное поражение под Сталинградом ничего не изменило.

Механизм самосохранения опять сработал безупречно. Соломон, он же солдат Юпп, он же гитлерюнге Йозеф нашел идеальную маскировку, с которой жил в безопасности. Но сколь это будет продолжаться, если в этом сумасшедшем режиме ты оказался со взятой напрокат личностью, без документов, с обрезанием? Все призывало к тому, чтобы уничтожить среди народа любого чужака, с тем чтобы этим народом можно было бы полностью управлять.

Я разрывался между двумя противоречивыми чувствами. Одни постоянно меня предупреждали о страшной опасности, другие успокаивали и успокаивали мой ужас до полного забытья. В общем, второе брало верх.

Мы побеседовали еще некоторое время. После того как я обстоятельно описал события на Восточном фронте, некоторые из присутствовавших покинули помещение, вернувшись к своим обязанностям. Я остался один на один с комендантом. И тут произошло непредвиденное: «Так, Йозеф, теперь мы выпьем рюмочку твоего коньяка, как это принято между двумя старыми фронтовиками». Он достал две рюмки и коробку печенья. Смущенный таким внезапным поворотом, я взял из угла бутылку и налил нам обоим. Мы выпили за здоровье. Это позволило заключить обоюдное согласие — нас теперь связывала тайна: никому ведь не следует знать, что мы выпиваем в образцовой школе гитлерюгенда. В ответ на мою «откровенность» он рассказал мне кое-что о себе. До недавнего времени Карл числился образцовым офицером СС и до 1940 года сражался во Франции, где был ранен и потерял ногу. Он постучал кулаком по протезу. Звук был отчетливым. После выздоровления ему предлагали много постов, но он выбрал именно этот.

Через сорок лет я встретился с ним в его доме в Брауншвейге. Случилось это в ноябре 1985 года.

Бургомистр Пайне пригласил меня как почетного гостя на открытие монумента, который установили в память синагоги, сожженной в «Хрустальную ночь»[13]. Я был приглашен как еврей, родившийся в Пайне и переживший Холокост. В Германии я не был с конца войны. Никто не знал истинной истории моего выживания. Я принял приглашение со смешанным чувством.

Мемориальная церемония включала в себя факельное шествие молодежи до того места, на котором когда-то стояла синагога. С каким удовольствием я ходил туда с моим отцом, особенно на Симхат Тора[14], еврейский праздник, когда детей осыпают конфетами и орехами!

Во время шествия я заметил, что название улицы Боденштедтштрассе, ведущей к месту церемонии, зачеркнуто красным и заменено именем Ганса Марбургера. Тут же мне вспомнился мой друг еврей Ганс. Его дом стоял рядом с нашим, и мы часто были вместе. Я спросил племянника секретаря ячейки коммунистической партии, убитого нацистами, не названа ли улица в честь того самого Ганса. И в ответ услышал потрясающую историю.

В «Хрустальную ночь» трое погромщиков из СА вломились в дом Марбургера и напали на его отца. Ганс бросился его защитить от нападающих с таким мужеством, какого никто от него не ожидал. Он тут же был схвачен, брошен в машину и увезен в синагогу. Там, в святая святых, они его заперли, связанного по рукам и ногам, и сожгли вместе с синагогой. Вечная ему память!

Через день после памятного мероприятия, во время которого мне рассказали эту историю, я навестил бывшего коменданта Карла Р. Предвижу недоумение: как можно было на следующий день после того, как я узнал о таком бесчеловечном поступке нацистов, устраивать встречу с тем, кто был из одной с ними обоймы? Мне это далось нелегко.

Прерываю свой рассказ. Даже на бумаге не удается мне перейти от трагической смерти Ганса к встрече с комендантом. Нет ей оправдания. Но Жизнь сама так распорядилась.

Рукопожатие не всегда означает необходимое прощение, оно, наоборот, может выражать душевную высоту, которая представляет собой смесь из презрения и человеческой победы над ненавистью и преступлением.

Что произошло перед встречей с Карлом Р.? На празднике

памяти я взволнованно обратился к публике, особенно к молодежи, и рассказал только что услышанную историю о молодом Гансе. В короткой речи я выразил восхищение его мужеством и величием: он не спасовал перед физическим превосходством противника, хотя был обречен на гибель. На следующий день меня пригласили на интервью с сотрудниками местной газеты. В оживленной беседе за чашкой кофе один из журналистов спросил меня, о том, как мне удалось пережить войну. Я ответил: «Большую часть времени я провел совсем недалеко, в соседнем городе Брауншвейге. Я выглядел как немец и скрывался в рядах гитлерюгенда. Даже гулял в форме по улицам Пайне, как раз под окнами вашей газеты».

Присутствующие моего ответа не поняли, о чем нетрудно было догадаться по их удивленным лицам и скептическим взглядам. Тогда я стал перечислять подробности. Когда я закончил свой рассказ и рассеял их сомнения, меня спросили: «Вы после этого возвращались в Брауншвейг?» Я ответил, что нет. «Вы бы поехали с нами, чтобы там встретить кое-кого, возможно, коменданта, о котором вы говорили?» Молодой человек чуял необычное продолжение моей истории.

После некоторых колебаний я согласился. Хотя понимал, чего мне это будет стоить.

Мне следовало прикинуться «бывшим», вернуться в то прошлое, которое я постарался вытеснить из памяти и которого так не хотел бы касаться. Следовало вернуть к жизни дремавшего во мне Юппа, дать выход мыслям, которые сам жестоко осуждал, хотел спрятать глубоко внутри себя и унести с собой в могилу. Слишком они сложны и болезненны, чтобы их можно было бы доверить другим.

Поездка в прошлое, удаленное на 40 лет, продолжалась 20 минут. Я сразу же узнал улицы и здания Брауншвейга. Вспомнил дорогу к школе, находившуюся по адресу Гифхорн, 180. Вскоре мы были на месте. Я с удивлением протирал глаза. Не изменяет ли мне память? Не было главного здания, образца нацистской архитектуры, не было ни жилых зданий, ни дорожек, ни спортивных площадок, ни бассейна, ни столовой. Вместо всего этого был пустырь, а за ним завод по производству «фольксвагенов». Единственным свидетелем прошлого было здание с классными комнатами, в котором теперь находилось техническое бюро завода.

Все, что составляло будни той жизни, еду, сон, спорт и т. д., было разрушено и больше не существовало. Остались только классные комнаты, где в течение трех лет мне преподавали уроки

расизма.

Сразу же я вспомнил, как пройти на квартиру Р. Дом находился недалеко от школы, иногда я там гулял. Но вышла осечка — в той квартире теперь жили другие люди, и они абсолютно ничего не знали о жильцах 40-х годов.

Мы спросили старую даму, переходившую улицу, и она вспомнила «инвалида Карла». Сказала, что он начал новую жизнь, занялся производством зубных протезов, а где он теперь живет, она не знает. Отыскали мы его по телефонному справочнику все той же дамы.

Я набрал номер Карла. На другом конце провода ответила женщина. Не называя своего имени, я представился бывшим учеником ее мужа и попросил о встрече. «О, Карл вам непременно обрадуется. Он как раз вышел, но через несколько минут вернется. Пожалуйста, приходите к нам!»

Мы записали адрес и отправились в дорогу. Уже издали я узнал фигуру в дверном проеме. Я почувствовал отвращение, страх, но одновременно с этим и какое-то смутное влечение. Факт был налицо — я стоял перед ним.

«Добро пожаловать, Юпп! Как твои дела и что привело тебя сюда?» — сказал он, очевидно взволнованный. Скорее серьезный, чем приветливо улыбающийся, я подошел к нему, мы протянули друг другу руки. Я прервал молчание: «Карл, я хочу тебе кое-что сказать. Меня зовут не Йозеф Перьел, а Соломон Перел. Я еврей».

Он не понял меня, даже после того, когда журналист подтвердил мои слова. Карл посмотрел на него, на меня и побледнел. Постепенно он переварил то, чего не мог себе представить в самых страшных снах. Он был смущен и возбужден. Вдруг он без слов распростер руки и обнял меня. Потом тихо сказал: «Господи, как я рад тебя видеть…»

Свою искреннюю радость он выразил спонтанно. Я не хотел выступать в роли мстителя, я хотел только расставить все по своим местам. И все-таки это была человеческая встреча, я поддался чувствам, не забывая при этом о прошлом. Мы оба плакали…

Ну вот, теперь вернемся к прошлому.

После того как я отсалютовал на прощание Карлу Р., меня послали в раздевалку, где я должен был получить форму гитлерюнге.

После всей мучительной неизвестности, ужасного путешествия, страшных коричневых униформ вокруг и мрачных взглядов в будущее начало было многообещающим. Скоро я

научился быть скрытным, держать при себе все пять чувств, подавлять страхи и действовать уверенно.

Абсолютно невозмутимо я вошел в раздевалку, где меня встретили две не очень молодые женщины. Я поздоровался с ними, они ответили «хайль». Против воли я вынужден был отвечать: «Хайль Гитлер!» Одна из них спросила меня, не тот ли я парень, что приехал с Восточного фронта. Я подтвердил, с удовлетворением отметив, что и здесь мои акции выросли.

На широкой стойке между нами они разложили вещи: комплект зимней и летней формы, две папки, полевую и рабочую одежду, носки и ботинки. Одна из женщин положила портупею с кинжалом гитлерюгенда. И на ней была та же надпись — «Кровь и честь»! Меня охватил ужас, я отшатнулся, не желая брать это в руки. Вдруг и этот нож будет применен против евреев и противников режима?

Мои раздумья были прерваны: «Примерь портупею, мы хотим посмотреть, подходит ли она тебе или нужна другая». Я преодолел себя и застегнул ремень.

Нагруженный вещами, бывшими собственностью Третьего рейха, я вернулся в свою комнату и все положил на кровать. Жгучее любопытство подстегивало меня влезть в новую форму. Хотелось посмотреть в зеркале, как я выгляжу в этом облачении… А может, поприветствовать Юппа, новичка в гитлерюгенде?

Постель была чистой и заправленной. Простыни и одеяла в голубую и белую клетку. Мой взгляд снова остановился на фразе, выведенной готическим шрифтом в рамке. Она утверждала, что крестьянские корни очищают германскую кровь. Как так?! Я тоже обречен на то, чтобы стать немецким крестьянином с собственным двором? А как же быть с расовой чистотой?

Комендант общежития заглянул в мою комнату и сообщил, вежливо улыбаясь, что сейчас время ужина. Я должен был привести себя в порядок, надеть костюм, в котором принято посещать столовую. Я поторопился все убрать и принял душ, прежде чем все вернулись. В раздевалке я быстро разделся в самом дальнем углу и запрыгнул в душевую кабину. У меня с собой было прекрасное ароматное мыло из Эстонии, оно давало большую пену. Юпп в этот момент чувствовал себя превосходно. У него было желание спеть знаменитую арию Паяца, которую он так любил. Паяц Леонковалло одновременно и смеется, и плачет.

Однако это мое состояние длилось недолго. Даже душ может превратиться из места для расслабления и услады в источник опасности. Будет плохо, когда мой запас мыла кончится. Придется тогда пользоваться RJF, единственным доступным в Германии мылом. Оно было очень плохого качества, противно

пахло и почти не пенилось, что меня больше всего беспокоило. Я терся им как сумасшедший, чтобы получить хоть немного пены.

Обрезание я скрывал простым и надежным способом: раздевался со скоростью ветра, оставляя трусы на себе, и влетал в кабинку. Только там раздевался полностью и после этого закрывал дверь. Я намыливал на себя горы мыльной пены, чтобы скрыть «опасные» части тела на случай, если кто-нибудь ненароком заглянет в мою душевую кабину.

И все же я опасался, что страница моей судьбы может в любой момент перевернуться. Поэтому я всегда искал дальний угол, если в раздевалке был кто-нибудь еще. Я хотел избежать малейшего любопытного взгляда. И по сей день я стесняюсь и у меня появляются колики, когда вхожу в общий душ моего спортклуба.

На той встрече с Карлом Р. он вдруг вспомнил, что многие ученики заходили к нему, чтобы доложить о моем странном поведении в раздевалке. И теперь он узнал причину.

Мыло RJF скрывало мою тайну от соседей по душу: я проклинал его за то, что оно недостаточно пенится, а они ругали «проклятое еврейское мыло». Дело в том, что название это представляло собой аббревиатуру: R — чистый, J — еврейский, F — жир. Так как я научился владеть своими чувствами, я не искал глубокого смысла в названии этого мыла.

Несколько лет назад, в День памяти о жертвах Холокоста, израильское телевидение интервьюировало одного человека. Держа в руке это мыло, он заявлял, что привез его в Израиль для того, чтобы тут предать земле, так как оно состоит из капель жира тысяч евреев.

Проблема обрезания мучила меня непрестанно и создавала непреодолимое препятствие. Поэтому я решил растянуть кожу. Однажды, когда я пришел к своей подруге, увидел у нее на столе толстый моток мягкой шерсти, из которой она себе вязала зимний жакет. Эти нитки подходили для моей затеи, и я сунул в карман несколько десятков сантиметров.

В школе я заперся в туалете и принялся за работу. Проклиная мохеля[15], который сделал мое обрезание слишком заметным, я потянул кожу вниз, и плотно, чтобы не сползли, обернул шерстяными нитками член. Принимая во внимание эластичность кожи, я надеялся, что через несколько дней она растянется и остановится на нужном месте.

Только недавно я узнал, что был не единственным, кто пробовал такую маскировочную операцию. Еще задолго до меня, в древности, врачеватели-евреи поступали подобным образом для того, чтобы устранить последний знак принадлежности к

еврейству. Тогда я еще не знал, что из этого могло произойти.

Несколько дней я проходил в таком бандаже. На каждой перемене бежал в мой «лечебный кабинет» — туалет, чтобы посмотреть и, если была необходимость, что-то предпринять. Даже ночью, ощупывая себя, проверял, крепко ли перевязана кожа. Но уже через несколько дней пришлось отказаться от всего этого — началось воспаление и я развязал нитки.

Я едва мог передвигать ноги. Тем не менее я работал как обычно. От неудачной манипуляции я испытывал боль во время тренировок на плацу. Я руководил группой 14-летних. Вдруг один из ребят меня спросил: «Йозеф, почему вы маршируете не в такт и согнувшись?» Придумывать отговорки стало для меня второй натурой, и я немедленно ответил: «Да что говорить, у меня просто болит спина». «Почему вы не обратитесь к врачу?» — продолжал маленький мучитель. «Я пойду туда, если через пару дней мне не станет лучше. По каждому незначительному случаю не ходят к врачу». Он кивнул.

Мой ответ повысил уважение ко мне среди младших школьников. Но что мне делать? Кому довериться в таком ужасном положении? Пойти к врачу было равнозначно тому, как если бы я собственноручно отдал себя на заклание: «Я покоряюсь. Вы выиграли. Убейте меня!» Но разве мама не наказала мне: «Ты должен жить!»?

Из-за боли, вызванной воспалением, я распустил нитки. Несмотря ни на что, я надеялся, что операция окажется успешной. Но кожа вновь и вновь возвращалась на место, и моя проблема осталась неразрешенной.

Очень трудно быть евреем. Но пытаться им не быть еще труднее.

Я вспомнил разговор между фронтовиками касательно пениса: природа, мол, снабдила его могучей силой самоисцеления: благодаря жировому слою кожи, рана или воспаление быстро заживают. Вспомнив об том, я решил просто подождать.

К большой моей радости я убедился, что это правда: воспаление само прекратилось и в конце концов совсем исчезло. Свое выздоровление я отпраздновал несколькими глотками ликера из моего тайного запаса. Больше я, конечно, никогда не стану вмешиваться в собственную природу.

Никогда не упрекал я своих родителей в том, что они приобщили меня к роду Авраама, отца нашего. Для меня это была такая само собой разумеющаяся реальность, как и то, что меня

зовут Соломон, а мое лицо именно такое, а не иное. Я не хотел не только скрывать своего происхождения, но и отказываться от него. Необходимо было продержаться до того момента, пока не наступит свобода. Меня поддерживала надежда на то, что от пребывания в этом месте я когда-нибудь буду избавлен.

В первый день я принял душ, надел новую форму и в хорошем настроении вернулся в комнату. Спокойно и добросовестно я расправил на себе ужасную форму и спросил себя, стоя перед зеркалом: «Соломончик, это ты?» Печаль и ужас пробежали по моему лицу, однако оно быстро просветлело, и я торжествующе себе улыбнулся. «До сих пор удача была со мной, и дальше так будет».

В одном теле и в одной душе гитлерюнге Юпп и еврей Соломон восстают друг на друга, как огонь и вода, и все-таки уживаются.

В коридоре послышались приближающиеся голоса. Я придал лицу серьезное выражение. Сердце мое билось. Кто эти молодые люди, как они будут реагировать на мое появление среди блондинов? Каким будет мой сосед по комнате?

Вот открылась дверь, и он вошел. Конечно, блондин, хорошо выглядит, лицо избалованного ребенка. Удивленно остановился в дверях. Я ему тут же улыбнулся, представился, коротко описав свой жизненный путь. Он обрадовался, что мы будем жить в одной комнате, приветствовал меня «Хайль!» и представился как Герхард Р.

Я сразу почувствовал, что от этого юноши у меня не будет неприятностей. Мы прервали разговор, когда услышали с улицы голос дежурного: «Через пять минут марш в столовую!» Я должен был маршировать в их форме и в их ботинках. Мои шаги будут громко отдаваться по кафелю, и я буду двигаться вперед в такт «левой-правой» их марша, который идет по Европе и миру.

Я убрал последние вещи и вместе с Герхардом покинул комнату. В коридоре я влился в поток курсантов, выходивших из своих комнат, и почувствовал на себе их вопросительные взгляды. Тем, кто шел рядом, Герхард сообщил, что я новый ученик и приехал прямо с фронта. Он и не представлял, какую неоценимую услугу мне оказывает. На первой же встрече с другими учениками моя козырная карта уже лежала на столе: я вольнонаемный, славный фронтовой вояка. Это включалось в срок учебы.

Каждый знал, что он должен делать, и учащиеся быстро встали в колонны по четыре человека. Дежурный попросил меня к ним не присоединяться, а подождать появления коменданта. Мне было ясно, что первое впечатление обо мне решит все. Когда пришел комендант, он указал на меня, громко назвал мое имя, а

на немецкое происхождение указал так, чтобы все его слышали. Потом он точно описал мое военное прошлое, подчеркнув, что командование части послало меня сюда для того, чтобы я продолжил образование и углубил знания о моей родине. Все получили приказ мне помогать. Конечно, я знал цену этой речи о моем вкладе на русском фронте, о храбрости, которую я продемонстрировал, будучи еще почти ребенком, о моей готовности пожертвовать жизнью за фюрера и народ…. Только черту могла прийти в голову такая нелепость. Но при моем душевном состоянии это было бальзамом.

Должен, однако, признать, что скоро и сам стал верить в свою ложь.

«Правой, правой, вперед марш!» — командовал ротный. Мне было приказано примкнуть к последней шеренге. Да и то, правда, я не попадал в шаг, приноравливаясь к их ритму.

Без указания, как само собой разумеющееся, все восторженно запели. Я знал песни «На лугу растет цветочек, он зовется Эрика», «Лореляй» и напевал их про себя. Вдруг я прервался, навострил уши, так как услышал песню, которую до сих пор не знал:

Евреи едут туда-сюда,
Идут через Красное море.
Они переходят Красное море.
Евреи идут.

Волны бьют,
И мир будет спокоен тогда,
Мир будет спокоен,
Когда волны их накроют.

Вот как, не прощают они Господу того, что Он посуху вывел Своих детей из Египта, а не потопил. Когда мы подошли к столовой, запели новую песню. Я слушал ужасные слова: «И если с ножа кровь евреев струится, то нам снова хорошо». Пели это, садясь за богато накрытый стол. Смогу ли я хоть что-нибудь проглотить? Нечто страшное было в этом пении, какая-то варварская бесчеловечная оргия.

Стук их подбитых гвоздями сапог был далеко слышен. Миллионы людей в ужасе спасались от них бегством, они предвещали разрушение, верные своим словам: «Мы будем маршировать дальше, пока не превратим все в руины. Сегодня нам принадлежит Германия, а завтра — весь мир!»

Маршируя под эти возгласы, мы дошли до столовой. Огромный зал с акустикой как в соборе был гордостью школы. Вмещал он до сотни учащихся. На стенах были изображены герои-викинги, свастики, оружие, цветы и плуги. Мне бросилось в глаза, что никто не садится. У столов все стояли как вкопанные, направив взгляд на маленькие хоры под высоким потолком. Там восседал комендант и говорил в микрофон. Он сделал торжественное лицо и ждал, пока стихнет шепот. Какое же тут произойдет священнодействие? Я настроился повторять жесты и каждое движение губ.

Наступила гробовая тишина. Комендант взял слово. Акустика усиливала его голос. Я постарался сконцентрироваться и понять сказанное им. Песня о крови евреев, которая струится с ножа, еще звучала в моих ушах. Я уловил несколько слов: «чистота расы», «быть сильным», «право на жизнь»… ну да, весь стандартный нацистский словарь. В тот момент я еще не знал, что в последующие три года те же формулы мне придется учить самому и обучать им других. Свою речь он закончил пожеланием хорошего аппетита. Мы начали есть. Нам принесли горячий овощной суп, булочки, сыр, искусственный мед. На десерт был чай.

Герхард сел рядом со мной и заговорил первым. Он едва мог скрыть свое любопытство и сказал так громко, что другие услышали: «Ну, рассказывай! Как там война?»

У меня было желание ответить: «Пошел к черту и оставь меня в покое!» — так я утомился. Но стал, конечно, рассказывать о боях и жизни солдат, воюющих против «еврейского большевизма». Никогда мне так хорошо не удавалось сочинять сказки, как в тот раз. Своими историями я их очаровал. Характеристика, выданная мне командиром «прославленной 12-й танковой дивизии», подтверждало правдивость моих слов. Преувеличений я избегал — знал, что они и без того высоко почитают героя войны.

Еще час после окончания трапезы я сидел в группе, которая собралась вокруг меня. Я отвечал на вопросы, детально описывая продвижение дивизии. У них просто отвисла челюсть. При том что они были неглупыми и не особенно наивными, их набирали из хорошо образованной городской молодежи, им так промывали мозги, так отравляли идеологией, что любовь к Отечеству превратили в фанатизм. Из них делали преданных последователей Адольфа Гитлера, душой и телом верных его фальшивым пророчествам. Из этих молодых людей вытравили всякий критический дух. Они следовали принципу «Фюрер приказал — мы исполняем!». Национал-социалистическая политика требовала безоговорочного послушания власти, любые

дискуссии исключались, выбора не было. Большинство не выражало своего мнения. Множество маленьких и больших фюреров принимало решения, а подчиненные беспрекословно их выполняли.

Разговор иссяк, а я в результате хорошо разрядился. Мы разошлись по комнатам, хотя в тот вечер намечалось какое-то мероприятие, а также должно было состояться собрание в учебном зале. «Опа, Шлоймеле! — подумал я. — Тебе не будет здесь скучно».

В комнате я сел за письменный стол и открыл тетради. В первый раз за день у меня была возможность отдохнуть на своей кровати. К счастью, в тот вечер мою группу освободили от дежурства.

На втором этаже одна группа готовила плакаты и транспаранты для шествия, которое должно было сопровождаться школьным оркестром и двигаться по улицам города, предупреждая население о возможных бомбардировках. От жителей требовалось очистить подвалы и оборудовать их всем необходимым для чрезвычайной ситуации: огнетушителями и сумками «первой помощи».

Я пошел в читальный зал. В газетах меня особенно интересовали сводки с фронта. Я натолкнулся на многочисленные некрологи под изображением креста, обрамленные черным. Я не нашел там ничего, кроме пустых фраз: «За фюрера, народ и родину пали на полях сражений. Скорбят оставшиеся в живых». Получалось, что на фронте все обстоит наилучшим образом, враг отступает, неся тяжелые потери. Цитировались избранные места из последней речи Гитлера: в истерическом ослеплении он утверждал, что вермахт без проблем оккупировал Голландию, Бельгию, Норвегию и другие европейские страны. «Даже Сталинград наш и нашим останется!»…

Само собой разумеется, были изображены тысячи восторженно приветствующих его немцев. Через три дня по всей Германии прошли дни скорби — 6-я армия под предводительством генерал-фельдмаршала Паулюса разгромлена Красной армией.

Ошарашила меня маленькая статья на последней странице газеты о плане переселения евреев на Мадагаскар[16], дабы «очистить» Европу. Примечательно, что победе русских в Сталинграде я не радовался, да и план тот не очень меня волновал. Возник своего рода компромисс, равновесие между Юппом и Соломоном, и так сложилась новая личность, равнодушная к собственным внутренним конфликтам. Я

попытался не думать о важности мадагаскарского проекта. У меня было полное ощущение того, что меня это не касается и не имеет никакого отношения к моей личности. Я не мог, да и не хотел думать о том, что и мои родители попадут в группу переселенцев.

Тайны разрушенной души до сих пор совершенно непостижимы. По-прежнему я непоколебимо верил в своего ангела-хранителя. Хотя не раз предпринимал попытку восстать против него. Для меня он не был богом какой-то определенной религии, а моим личным богом, и я в него верил. Ни в коем случае не хотел я оспаривать ни одно из его требований ко мне.

Мое внимание привлек ежемесячный журнал «Фанфары», выходивший специально для гитлерюгенда, великолепно изданный и прекрасно иллюстрированный. Я стал его листать. Издавал его местный отдел пропаганды. Между информацией о школьном оркестре и о мастерских воспитанникам предлагалось написать на фронт письма, адресованные солдатам, поддержать их морально, призывая к любви к Отечеству и вере в окончательную победу.

Мне захотелось написать в мою прежнюю часть гауптману фон Мюнхов, получить известие от бывших сослуживцев, узнать, кто погиб на полях сражений. Была потребность каким-либо образом поддерживать с ними связь, хотя они и были моими смертельными врагами, а все же я разделял свою судьбу с ними. Меня связывали с ними их постоянная забота о моем благополучии и общая опасность навечно быть погребенным в чужой земле.

Помню, как они старались раздобыть лекарство от мучившей меня боли в колене. Ни таблетки Хайнца, ни другие лекарства не помогали. Но один простой солдат избавил меня, наконец, от страданий. Он нарезал березовых веток и выгнал из них сок. Я натер им колено, и боли исчезли, как будто их и не было. Не уверен, что именно «березовая вода» принесла мне избавление. Но отрадно сознавать, что чужого человека тронула судьба брошенного мальчика. И все же из-за смертельной опасности, неизменно меня преследовавшей, эти маленькие проявления внимания были словно лучи солнца, падавшие в разделяющую нас бездну. Я ненавидел этот режим и полностью его отвергал, сохраняя симпатию к помогавшим мне людям. С одной стороны, я горячо молился о спасении моей семьи, моих единоверцев и о скорейшем поражении тех, кому предназначено было стать их врагами. С другой — испытывал к последним какую-то странную привязанность.

Когда я вернулся в свою комнату, Герхард уже лежал в постели с книгой. Несколько минут спустя и я улегся в кровать. Я

глубоко дышал. Не знаю, что меня побудило задать ему вежливый вопрос:

— Откуда ты?

— Совсем близко отсюда, из Пайне.

Его ответ настолько меня взволновал, что я спрыгнул с кровати и уже готов было в восторге закричать: «Какой невероятный случай, я тоже из Пайне!» И тем самым приговорил бы себя к смерти. Но я проговорился лишь однажды, растерявшись, и с тех пор запретил себе любое спонтанное проявление чувств. Преодолев себя, я спросил:

— Где находится Пайне?

Очень вежливо он мне ответил:

— А, недалеко отсюда. Примерно в двадцати километрах от Брауншвейга. В один из следующих выходных я приглашу тебя в гости. Я уверен, что мои родители рады будут с тобой познакомиться, а ты сможешь осмотреть город.

Эту беседу я закончил благодарностью и пожеланием спокойной ночи.

Я зарылся с головой в подушку, надеясь заснуть. Я думал о будущем, о том, что оно мне готовит. Быть может, в этот самый момент Герхард повернет ко мне голову и возбуждение на моем лице вызовет у него подозрения. К счастью, он смотрел в потолок.

Добрый день, Германия! Доброе утро, школа! Я очень хорошо спал первую ночь в постели, подаренной мне Третьим рейхом. После безмятежного сна я чувствовал себя отдохнувшим.

По-видимому, новоиспеченный гитлерюнге Юпп чувствовал себя хорошо в новой роли, в отличие от Шлоймеле времен гродненского детдома, где он был вынужден сушить простыни. Он всецело принадлежал к элите молодых немцев. Юпп редко вспоминал Соломона. Он спрятал его глубоко, пытаясь забыть прошлое единственно ради того, чтобы спасти жизнь Шлоймеле Переля, сына Исраэля и Ривки, внука мудреца из Вилкомира[17] и ребе Эли Гальперина. Глубоко внутри я иногда вспоминал об этом, то была негасимая искра прошлого.

На улице светило весеннее солнце. Пьянящий аромат зелени и цветов проникал через открытые окна. Я встал с кровати и осмотрел мой новый мир. Красота ландшафта укрепила меня. Я дал себе обещание не падать духом до тех пор, пока жизнь и свобода не восторжествуют вновь.

По дороге в умывальную комнату я напевал популярную тогда мелодию «Лили Марлен». Вежливо улыбаясь, отвечал на приветствия, сыпавшиеся со всех сторон: «Доброе утро» или «Хайль!» Потом с особой аккуратностью надел на себя форму. Для нашего утреннего марша в храм «Силы через радость»[18] она

была безукоризненно выглажена.

На своих знаменах нацисты писали «Сила», а соседний город Вольфсбург называли «Город KdF» (Kraft durch Freude — «Сила через радость» означал нацистский лозунг и пропагандистское название будущего автомобиля). Там находился главный завод фирмы «Фольксваген». Его следовало регулярно посещать, так как мы были с ним связаны. Вкусный завтрак вновь сопровождался искусственным медом, а последовавшая за ним неожиданная и веселая беседа с комендантом подняла мое настроение. Я больше не беспокоился.

Меня занимал этот искусственный продукт, на вкус и цвет его можно было принять за натуральный мед. Позже мне кто-то объяснил, что его добывают из угля. Определенные ингредиенты, после рафинирования выпадающие в осадок, по составу походили на мед. Я полюбил эту странную пасту. Теперь до меня дошел смысл плаката «Не воруй уголь! Экономь энергию и выключай свет!», прикрепленного рядом с каждой электрической розеткой. Надпись сопровождалась карикатурой: некто с лицом, покрытым сажей, несет на спине мешок угля.

После завтрака я должен был зайти в главную канцелярию к фрейлейн Кехи. Это известие заставило меня вздрогнуть, у меня сразу же заболел живот. Что еще они от меня хотят? Я заправил постель и, когда мои товарищи разошлись по классным комнатам, отправился искать фрейлейн Кехи. Давящая тишина стояла в здании, в котором я впервые встретил нашего коменданта. Лишь звук хлопающих дверей и отдаленные голоса указывали на присутствие здесь людей. Справа от вестибюля я наткнулся на белую дверь со знаком немецкого Красного Креста «Санитарная зона». Я остановился, меня внезапно пробрал холод: впереди ожидала новая опасность — медицинский осмотр. Как я об этом не подумал!

Любой начинающий врач обнаружил бы во время осмотра мое обрезание. Если я войду в эту дверь, то, вероятно, и выйду из нее, но уже в свой последний путь.

У меня просто не было права на болезни. С трудом я нашел кабинет фрейлейн Кехи и представился. Ей было примерно лет 25, она носила очки и производила, в общем, приятное впечатление, но была при всем том страшненькой и абсолютно неженственной. Позже я называл ее «стиральная доска». Ее улыбка и любезность мне сразу же понравились. До сих пор нас связывают взаимные симпатия и дружба, мы многократно встречались. Она до сих пор не замужем и сейчас, кажется, красивее, чем в юности. Она предложила мне присесть. Я

обрадовался, услышав, что мое военное прошлое произвело на нее впечатление. Ее сердечные слова успокоили меня и даже польстили.

Причина вызова к ней обрадовала меня меньше. Мне следовало предоставить персональные данные дополнительно к тем, что были указаны в моих документах, а также пройти психологические и технические тесты. Я был уже наслышан о мастерских, но не знал, что там происходит. Фрейлейн Кехи дала мне исчерпывающую информацию. Школа отважилась на первый в Германии эксперимент подобного рода. Политические и естественно-научные предметы изучались в сочетании с работой на соседнем заводе «Фольскваген».

Я хорошо овладел навыком дополнять свою биографию новыми «подробностями», к тому же этот допрос не требовал от меня особого напряжения. Но следующий вопрос прозвучал для меня словно удар обухом по голове: «Имя и происхождение родителей?» Мне уже задавал его известный вам гауптман, и тогда я выпалил ответ словно из пушки, а теперь замешкался и покраснел.

Вопрос внезапно проткнул толстую оболочку, за которой я укрывался, моментально вызвав ужасную боль. Не шевеля губами, я промямлил: «Мама… папа… где вы?» В горьких слезах я произнес: «Сожалею, но я не могу ответить на ваш вопрос. Я еще в раннем возрасте был отдан в детский дом. Я никогда не видел своих родителей… Я один». Ее лицо выразило необыкновенное сочувствие, она внесла мой ответ в документы.

И снова я удивился тому, как ложная информация просто и без проверки была принята и записана. Никто из педантичных чиновников полиции, гестапо или внутренней безопасности не потрудился проверить мои данные даже в гродненском ЗАГСе. Их доверие ко мне остается для меня загадкой. Может, правы те, кто считают, что все в нашей жизни предопределено?

Симпатичная секретарша не заметила моего замешательства. Слава Богу! Разговор проходил гладко. «Да, я говорю еще на других языках, русском и польском». Я не упомянул, что в Гродно еще учил идиш, это сокровище Соломона я держал в тайне. И так, в качестве регулярного ученика я был принят в эту единственную в своем роде часть гитлерюгенда — Бан 468, Нижняя Саксония, Север, Брауншвейг.

Прежде чем фрейлейн Кехи послала меня в соседнюю комнату на психотехнический тест, мы обменялись парой любезностей. Я чувствовал, что она за мной наблюдает. Прежде чем покинуть кабинет, я, конечно, не забыл произнести: «Хайль Гитлер!» — щелкнув каблуками. Живя в тоталитарном режиме,

невозможно было узнать, что в действительности происходит в головах у других. Поэтому абсолютно разумным было не пренебрегать установленным ритуалом. Малейшая оплошность могла разрушить созданный мною образ. В кабинете рядом я должен был разобрать металлическую деталь на более мелкие фрагменты и в течение определенного времени снова собрать. Это небольшое задание мне следовало выполнить без ошибок, тогда успех обеспечен. Я сделал все возможное…

Я числился среди лучших. Я получил книги и учебники, о которых прежде знал лишь понаслышке, среди них были «Майн Кампф» Адольфа Гитлера и «Миф 20 века» Альфреда Розенберга, шефа по идеологии НСДАП. Следующие три года я до тошноты зубрил эти произведения, занимавшие в национал-социалистической идеологии ключевое место и служившие основой расовой теории.

Обычные дисциплины, которым обучают в школах всего мира, не сильно меня напрягали. Наоборот, занятия ими давали мне моральную поддержку и удовлетворение, я быстро схватывал все, чему меня учили. Один воспитатель в Лодзи сказал мне, что я стану профессором. В Гродно я тоже числился среди лучших в учебе и дисциплине, мое фото висело на доске почета старшеклассников. А вот что действительно угнетало меня до ужаса и почти что физической боли, так это расовая теория.

Теперь, спустя четыре десятилетия, мне, чтобы вновь выцарапать из памяти то, что я тогда вынужден был зубрить, приходится напрячь свою память. Для этого я погружаюсь в себя, отстраняюсь от внешнего мира, закрываю глаза, провожу пальцем по подбородку. И так возвращаюсь в классную комнату, сажусь на свое место в среднем ряду. Судорога и боль сводят живот. Все как тогда. Мне опять 17 лет, я, в форме со свастикой, сижу среди других, напряженно ожидая, что будет.

Сейчас откроется дверь и войдет учитель расовой теории. Он молод, светлые, коротко подстриженные волосы, тонкие очки в желтой металлической оправе. У него коричневая униформа СА и черные сапоги. Ученики встают навытяжку и орут как один: «Хайль Гитлер!» — опускают руки, снова садятся.

Все сидели неподвижно, вытянув шеи, вперив в учителя глаза. Особенно невыносимым было для меня минутное молчание. От напряжения мои кости похрустывали.

Учитель спокойно открывал классный журнал, медленно всех оглядывал, проверяя присутствующих, что-то записывал и начинал урок.

Положения теории, направленные против моего народа, заставляли меня внутренне кричать. Я застывал, сидя за своей

партой, словно в плену, и с нетерпением ждал спасительного звонка. На переменах держался в стороне от других и пытался до следующего урока успокоиться.

Как только мог я находиться среди них, выслушивать тезисы, требующие смерти для еврейского народа, и при этом не потерять рассудок? Объяснение нахожу лишь в том, что всю эту ужасающую ситуацию я воспринимал не вполне осознанно. При этом я страдал от постоянного страха преследования. Мое неожиданно громко произнесенное имя или требование зайти к начальству тотчас же вызывали у меня ужасную мысль: настал мой последний час. Всякого незнакомца, оказывавшегося в поле моего зрения, я воспринимал как гестаповца, который пришел за мной.

Многие пассажи нацистского учения наводили на меня страх и ужас. Одна из глав учебника называлась «Характерные отличительные признаки евреев». Цель урока: «Узнай своего врага!» На стене в нашем классе висели для наглядности большие фотографии еврейских лиц в профиль и фас.

Можно было видеть изображения Вечного Жида — мужчину в шляпе, который опирается на палку, весь в лохмотьях, за спиной котомка. Надпись под рисунком гласила: «Такими они пришли с Востока…» На другом фото был изображен тот же еврей, но на этот раз с большим животом, красиво одетый, обвешанный золотом и бриллиантами, с сигарой во рту и хитрой улыбкой. Под его ногой немецкий крестьянин. И надпись: «…а такими они стали у нас».

Скрупулезно, с немецкой точностью обсуждалась каждая деталь, каждая часть тела, форма черепа. Список отличительных примет с каждым днем становился все длиннее и заполнил, наконец, всю доску. Рука усердного ученика Юппа, который хотел быть хорошим, не дрожа, все это подробно записывала. Лишь глаза настороженно смотрели вокруг: не обнаружил ли кто-нибудь в нем что-то не то. На мне обнаруживалось немало из этих признаков. Согласно этой «науке», еврея можно распознать по низкому лбу, вытянутому черепу, среднему росту (арийцу положено быть высоким), по длинному носу с горбинкой, обрезанию, плоскостопию и т. д. Однажды добавили еще и жесты. С этого момента я решил не сопровождать слова оживленной жестикуляцией. По крайней мере, это не должно было вызывать подозрений.

Страх преследования охватывал меня все больше. Неожиданно я получил поддержку. Произошло это во время чтения доклада о «народном свойстве нашей общины». «Союз немецкой крови» состоит из шести рас. Нордической среди них

признана так называемая мужская. Ее представители обладают характером, который предопределяет власть, организацию, науку и культуру. Только их наделил Господь этими свойствами, следовательно, только они способны создать в мире порядок и спасти Европу от упадка: «Господь выбрал нас».

Политика фюрера и партии ставила своей целью ускорить распространение нордической расы посредством приобщения к ней менее привилегированных рас, таких, как финны, народы Западной Европы, румыны и восточные прибалты, у которых нордический элемент со временем был испорчен контактами с окружающими народами. В порядке «германизации» из Норвегии были присланы молодые люди, прошедшие перед этим тщательное обследование. В специальных учреждениях их спаривали с «абсолютно чистыми» арийскими женщинами. Плоды этих связей, названные «детьми солнца», предназначались в подарок фюреру. Большей частью их усыновляли семьи из СС или отправляли в специальные воспитательные учреждения.

Однажды, когда я сидел с друзьями в пивной в Брауншвейге, к нам подсело несколько студенток. Одна из них с гордостью рассказала, как к ним в университет пришел пропагандист и пригласил поучаствовать в выполнении приказа фюрера о поднятии рождаемости нордической расы. Он говорил о том, что заповедь «плодитесь и размножайтесь» есть высший закон народного общества. Я не спросил девушку, не упустила ли она возможность получить удовольствие. Одна моя знакомая, которая была участницей Союза немецких девушек[19] предоставила себя для этой цели без ведома родителей.

По словам того самого пропагандиста норвежцы — единственный народ, в жилах которого течет чистая нордическая кровь тевтонцев и викингов.

В нашей школе были представлены молодые люди из всех регионов рейха. Чтобы проиллюстрировать ярко выраженные расовые особенности, к доске по одному вызывали учеников чисто нордического типа и представителей смешанных рас. Однажды, когда я сидел, погруженный в свои мысли, голос учителя достиг моего уха. Он назвал мое имя и пригласил к доске. Меня охватила дрожь. Какую ерунду придумал наш молодой учитель-эсэсовец? Как я могу служить ему наглядным пособием? Я поднялся и пошел к доске, как гимнаст, балансируя над пропастью. Словно бы меня, невинного зрителя, послали на арену к гладиаторам. Дороги назад не было, и земля не разверзлась, чтобы поглотить меня. По пути я смотрел на класс и к моему большому удивлению обнаружил, что на меня смотрят одобрительно, а учитель, казалось, не замышляет для меня

смертной казни. Я успокоился.

И тут произошел сюрприз: «Посмотрите на Йозефа! Он типичный представитель восточно-балтийской расы». Так говорил учитель. О небо! Тысячи исследовательских работ можно теперь признать абсурдными, не стоящими ни гроша. Меня это воодушевило. Я застенчиво улыбался. Признанный ученый выдал мне великолепное удостоверение. Вдруг я увидел себя «кошерным арийцем». Свою черную гриву волос и приземистую фигуру я уже не воспринимал как позорное пятно. Спасибо тебе, посланник дьявольского рейха! Ты снова дал мне надежду.

Примерно через две недели после окончания войны я встретил «почтенного учителя» Боркдорфа на вокзале в Ганновере… Я направлялся в концентрационный лагерь Берген-Бельзен[20] и вдруг столкнулся с ним на лестнице лицом к лицу. Он радостно спросил меня о том, как идут мои дела и куда я направляюсь. «В Берген-Бельзен, это неподалеку от Целле, — ответил я. — Хочу кое-что вам сказать. Вы, конечно, помните тот урок по расовой теории, на котором меня выставили в качестве типичного представителя восточно-балтийской расы. Теперь я хочу исправить заблуждение большого ученого и заявить, что к этой расе и вообще к арийской ни в коем случае не отношусь. С головы до ног я — настоящий еврей».

Он, видимо, был мастерским притворщиком. На его неподвижном лице не отразилось ни малейшего чувства. В доказательство собственной правоты он ответил: «Вы мне это говорите? Я знал это, но избегал всего того, что могло вам навредить…» Я оставил его и пошел дальше. Я не злопамятен.

Изложу вкратце услышанное от нашего учителя.

Положение Германии в центре Европы постоянно приводило к конфликтам с соседними странами (что подтверждается исторически). Существование и честь Германии время от времени находились из-за этого под угрозой. Целостность Германскому рейху может обеспечить только военная власть. Для того чтобы выстоять в борьбе, народ должен быть здоровым и сильным. Он должен признавать законы природы и жить в соответствии с ними. Прежде всего, в согласии с естественным отбором. Повсюду в природе виды борются за выживание. Растения спорят за место под солнцем. Звери нападают друг на друга, чтобы защитить ареал обитания и запасы пищи. Птенца, не умеющего летать, выбрасывают из гнезда… Выживает тот, кто побеждает других. Природа безжалостно уничтожает все слабое и больное. Молодое национал-социалистическое государство решило неукоснительно

этот закон соблюдать. Начало оно с того, что стало препятствовать спариванию сильных со слабыми. Последним выживание гарантировали социальная поддержка и благотворительность. Но это не способствовало росту благосостояния народа. Возмутительный дефицит оного возник, по словам нашего учителя, из-за того что оно тратилось на слабых и больных.

Он также говорил, что физические и психологические особенности, будь то сила воли или, наоборот, лень, наследуются. Поэтому следует кастрировать душевнобольных, лиц с хроническими заболеваниями, глухонемых, слепых, физически неразвитых и так далее, дабы впредь раз и навсегда исключить их из общества.

К тому же в природе действует еще один устойчивый закон: живые существа размножаются только внутри своего вида. Орел не спаривается с вороной, тигр со львицей. Исключения вроде мула, полученного от скрещивания лошади с ослом, имели место из-за вмешательства человека. Но и в этих случаях природа установила границы — она подвергала гибриды стерилизации, чтобы они не размножались дальше. Под тот же закон подпадает и человек: если он смешает свою кровь с чужой, то обречен на гибель, о чем свидетельствует случившееся с римской и греческой цивилизациями. Метисы существовали в состоянии шизофренической раздвоенности, их сознание и чувства выродились, и наконец они деградировали до неполноценных существ. Поэтому немецкий народ должен следовать законам природы и стать бесчувственным и непреклонным по отношению к чужакам.

В связи с этим вспоминаю высказывание одного из наших учителей: «Нам не нужны ученые, нам нужны защитники Отечества!», а также плакат с изречением фюрера, висевший в одном из классов: «Твое тело принадлежит народу! Твой долг быть здоровым!»

Нас также уверяли, что сохранение чистоты крови в Германии станет традицией. Многие поколения немецкая раса слыла неприкосновенной. Но после того как в XIX веке девиз Французской революции «Свобода, равенство, братство» приняли и немцы, барьеры пали и началось смешение кровей. И тогда с чистой немецкой кровью смешалась главным образом еврейская.

Евреи воспользовались этим для осуществления своего плана порабощения арийской расы. В доказательство реальности существования мирового еврейского заговора в классе распространялись «Протоколы сионских мудрецов».

Каждый сам может убедиться в разрушительном влиянии евреев на политику, экономику и культуру. Ко всему прочему, еврейская раса произошла от смешения монголов, азиатов и негров. Конечно, евреи биологически похожи на человека. Но в отношении духовном и моральном они животные, управляемые животными инстинктами. В общем, можно сказать, что бесстыдство евреев росло и вскоре переступило всякие границы. Никто не должен был удивляться тому, что немецкий народ видит в нем живое воплощение дьявола на земле.

У меня был шок, когда однажды на уроке наш учитель привел такой случай. Маленькая девочка из немецкой деревни в письме священнику спрашивала: «Были ли евреи созданы по образу и подобию Бога?» Ответ газеты на смелый вопрос неизвестной девочки был ошеломляющим: «Вы спрашиваете, были ли евреи созданы по образу и подобию Бога? Мы отвечаем на это, что кровососущие паразиты и клещи, которые разносят болезни, были созданы природой. Однако для сохранения человеческого здоровья мы должны их истребить».

Так стоит ли удивляться тому, что те, кто был занят уничтожением такого чудовищного количества людей, включая грудных детей, оправдывали свою «работу» возложенной на них миссией?

Я чувствовал, что постепенно попадаю в западню этой порочной «науки», во всяком случае, некоторых ее тезисов. Так я стал воспринимать как должное, что народ, стоящий выше других, имеет право на абсолютное господство или что подрастающему поколению с плохой наследственностью нужно запретить продолжать род, дабы народ рос здоровым и трудолюбивым. То, что я принял эту идеологию, не вызывало во

мне удивления. Соломона из моей памяти вытеснил Юпп.

Но о первом мне однажды напомнили. Я был вызван в заводское бюро. Тотчас меня охватила паника: сейчас на меня обрушатся допрос и арест, настанет мой последний час. Предшествующие недели я провел беззаботно, и вот теперь карточный домик грозил рухнуть. Оцепенев от страха, я шел на вызов. Но победил оптимизм, всегда во мне сохранявшийся. Чем ближе я подходил к цели, тем сильнее странная вера в мою счастливую звезду успокаивала волну страха. Я уговаривал себя, что ничего плохого случиться не может. Я прошел уже столько испытаний и каждый раз выходил сухим из воды. И теперь моя звезда и моя сила вновь помогут мне. Мои методы защиты прекрасно срабатывали, не подведут они и теперь.

В бюро я встретил чиновницу из BDM, ведавшую вопросами персонала. Приветствие «Хайль Гитлер!» не оставило у нее сомнений в моей благонадежности. По крайней мере, опасение, что за мной пришли гестаповцы и сейчас меня поставят к стене, не оправдалось. Я немного расслабился и успокоился. Больше я не думал о напряжении последних минут. Равнодушное выражение лица женщины не указывало на то, что я в ловушке. Лоб Соломона разгладился, а Юпп глубоко вдохнул воздух.

— Ты Йозеф Перьел? — спросила она меня.

— Да! — ответил я резко.

— Мы получили для тебя повестку в суд. Ты должен как можно быстрее явиться в секретариат. Речь идет о приведении в порядок твоего дела.

— А точнее? — спросил я не медля.

Она не смогла утолить мое робкое любопытство и предположила, что это лишь административная формальность. Она посоветовала мне отпроситься с урока физкультуры и завтра с утра отправиться по повестке.

Я покинул залитое солнцем помещение. Огромный портрет Гитлера ослепил меня. Я намеревался предъявить единственный официальный документ — мою членскую карточку гитлерюгенда в надежде на то, что на следующий день огромное надувательство не всплывет в суде. Я был уверен в том, что согласно установленному порядку мне наконец-то выдадут документы немецкого рейха. За это я хотел их поблагодарить особенно бравым приветствием.

Я вернулся в класс к работе. В ту ночь, несмотря ни на что, я прекрасно спал — мы с моим соседом Герхардом допоздна занимались и очень утомились.

На следующее утро я отправился в ведомство, куда меня вызвали. Шел я не торопясь, потому что дорогу знал хорошо. Мы

с товарищами часто бегали по ней в соседний кинотеатр, где смотрели немецкие звуковые фильмы. На расстоянии нескольких домов от здания суда находилась большая кондитерская. Я часто ходил мимо. Однажды на входной двери я заметил коричневую вывеску с черными буквами: «Евреям и собакам вход запрещен». Именно поэтому я стал заходить туда при любой возможности, чтобы купить пирог. Мне доставляло удовольствие смотреть на улыбающуюся продавщицу и слышать слова благодарности. Но сегодня мне не хотелось даже самого маленького кусочка шварцвальдского вишневого пирога.

Я должен был подтвердить свою идентичность. Передо мной выложили множество формуляров, в присутствии чиновника я подписал документ, определявший моего опекуна. И кого же великая Германия приготовила за меня? Никого иного, как бывшего офицера ваффен-СС коменданта гитлерюгенд Карла Р., моего непосредственного начальника. Тут я почуял новую возможность выпить с ним рюмку коньяка за это знаменательное событие. Вот казус, единственный за всю историю Третьего рейха: офицер СС, конечно же по незнанию, взял под свое крыло еврейского ребенка, чтобы по закону заменить ему отца.

Под холодным инквизиторским взглядом чиновника я поставил свою подпись. Мне вдруг подумалось: с их усердием и доброжелательностью они еще женят меня на блондинке!

С чиновником я попрощался в хорошем настроении. Весело насвистывая, летящей походкой я поспешил тем же путем назад, чтобы объявить коменданту его новую роль и выразить радость от связывающего нас союза.

Снова «маленькая» опасность меня миновала. Я был счастлив! Я несся по мощеной мостовой к интернату № 7. В то время он пустовал. К моему большому разочарованию в кабинете коменданта никого не было. Я постучал в дверь, но напрасно. Облачившись в свою рабочую одежду, я пошел в мастерскую к товарищам. Объявление сердечной благодарности Карлу я оставил на потом.

Когда я вернулся в мастерскую, многие смотрели на меня с любопытством и вопросительно. Я объяснил, что все в порядке и что речь шла о некоторых документах. Заняв свое место, я продолжил работу, оставленную в первой половине дня.

С 1940 г. в Вольфсбурге усердно работали над новой машиной-амфибией. В нашей мастерской, которая относилась, как и вся школа, к «Фольксваген-фольварк», мы должны были изготавливать специальные инструменты для запланированного массового производства этой машины. Осенью 1942 г. в городе произошло событие: первая пробная поездка амфибии. На этот

праздник нас тоже пригласили. На украшенном автобусе нас привезли на территорию завода в Вольфсбурге. Мы надели парадную форму и взяли знамена со свастикой. Всю дорогу мы бодро пели.

В начале праздника состоялся осмотр всего производственного процесса. Сборочные цеха, где царил безупречный порядок, протянулись на многие сотни метров.

На стенах висели картины по мотивам немецких легенд. В этих цехах мы встретили гастарбайтеров из Голландии, Бельгии и Франции, а также подневольных рабочих из Польши. В этот праздничный день они, конечно, должны были стоять у конвейера. Ни на тех, ни на других мы не обращали внимания. Мы вообще презирали все, что считали для себя чуждым. Да и устроено все было так, чтобы мы не приближались к иностранцам. Немецких конструкторов, инженеров и мастеров можно было узнать по белым рабочим халатам.

Сотрудники профессора Порше, отца «Фольксвагена», водили нас по цехам и рассказывали о фазах производства, от монтажа жестяных частей до лакировки и конечного изготовления. В конце невероятно длинного технологического процесса машина стояла во всем блеске и ждала испытательного пробега.

Во времена нацистского режима завод «Фольксваген» считался образцовым предприятием и финансировался отчасти через своего рода акции. Каждому немцу была обещана машина: «Ты должен сэкономить пять марок в неделю, если хочешь ездить на собственной машине!» В конце концов никто из прилежных вкладчиков ее так и не получил, так как настоящей сутью той акции было финансирование производства военной техники. К таковой относилась и амфибия — неудачная попытка, которую мы восприняли тогда как сенсацию.

После сытного обеда мы направились на испытательный полигон. Перед нами находился крутой спуск, внизу было устроено озеро. Мы встали совсем близко. Восторг вокруг достигал апогея, как будто бы речь шла об открытии, от которого зависит ход войны и который приведет к «окончательной победе».

Все были в праздничном настроении. Мы чувствовали себя причастными к этому действу; для шасси новой машины были произведены первоклассные точные детали. «Эти колеса едут для победы», — сказали нам. Вдруг прозвучала команда «Тихо!» Наступил торжественный момент.

Мы услышали шум мотора, потом на вершине искусственного обрыва появилась машина. На первый взгляд, в ней не было ничего необычного. Она съехала по обрыву. Зрители затаили дыхание, их лица застыли в напряжении. Когда под

аплодисменты машина вошла в озеро, разбрызгивая в разные стороны воду, на корме заработал гребной винт, она не опустилась на дно, а поплыла. Нас охватил коллективный восторг. Меня захлестнул гром аплодисментов.

Испытание удалось, «отечество спасено»! Несмотря на это, новое изобретение потерпело неудачу. Опьяненные радостью успеха, мы возвращались в Брауншвейг. Комнаты, классы и мастерские наполнились восторженной молодежью, воодушевленной жаждой созидания и деятельности.

Мы учились еще усерднее, сверлили, прикручивали, смазывая маленькие колесики этой гигантской военной машины. Позже здесь было создано оружие возмездия V1.

Бомбардировки союзниками городов и индустриальных центров подавили моральное состояние народа, выбили людей из колеи. Перспектива победы становилась все более призрачной. Их голубые глаза начали видеть, что в действительности происходит. Людей трясло от вида крови, которая не прекращала литься из ран.

Однажды окончание нашего урока было неожиданно скомкано. Нас попросили пройти в большой зал, чтобы прослушать речь министра пропаганды Геббельса, которую он произнес на собрании в Берлинском дворце спорта.

Речь транслировалась в прямом эфире. Сначала оратор оглядел и поприветствовал присутствующих. В первых рядах сидели тяжелораненые с медалями на груди, среди которых многие были на костылях или еще в гипсе, за ними расположились члены вермахта, делегации от национал-социалистических организаций и простые граждане.

Я попытался представить себе, что там происходило. То тут, то там среди людей вновь вспыхивала надежда. Зазвучал возбужденный голос Геббельса. Он вбивал уверенность собравшейся массе: «Нескончаемые резервы немецкого народа еще не исчерпаны». Воздушные налеты американцев и англичан, которые «стоят на службе у евреев», резко осудил как варварские. Потом выкрикнул: «Вы хотите войны?» Ткань громкоговорителя вибрировала и могла легко порваться, когда орущая толпа кричала ему в ответ: «Да!»

Всеобщая война была провозглашена. Любого попавшего на немецкую территорию вражеского летчика можно было линчевать на месте. В прежних докладах британцы представлялись потенциальными союзниками Германии. Англичане как народ арийской крови призваны были объединиться с немцами для освобождения Западной Европы от еврейского большевизма. Теперь все изменилось — наступала расплата, построены были

ракеты Фау-1, и мы запели: «Бомбы на Англию!»

В коридоре общежития со мной говорил заместитель банфюрера, инвалид с деревянным протезом руки, прикрытым перчаткой. Он сообщил, что банфюрер собирается в предстоящее воскресенье на еженедельном сборе представить меня всем ученикам.

Он уже не слышал, что я ответил ему на новость о моем «введении в состав», — так быстро он исчез. Эта новость снова повергла меня в замешательство. До часа упомянутого сбора я жил в постоянном страхе. Я испытывал смертельный ужас при мысли о том, что меня выставят перед сотней пар глаз подозрительных и фанатичных молодых нацистов. У них может зародиться сомнение в чистоте моего происхождения. Как следствие, могут возникнуть нежелательные вопросы и расследование. Ожидание этого наносило мне раны столь глубокие, что они и сегодня еще не залечены и, пожалуй, никогда не зарубцуются.

В ночь перед моим представлением я видел сон. Я стою перед толпой нацистов, гладко причесанных, одетых в парадную форму. Их колючие взгляды пронзают панцирь, за которым я спрятался. Мы ждем прихода банфюрера, это длится вечность. Он приходит и небрежно бросает: «Вот, я вам привел молодого еврея!» Они бросаются на меня с дикими криками, разрывают на куски, мою голову насаживают на древко знамени. Этот сон и теперь постоянно меня преследует. В тот момент, когда моя голова покачивается на древке, я просыпаюсь в поту и судорожно глотаю воздух. Пока рассеивается туман сна, я, все еще оцепеневший, но уже совсем бодрый, понимаю, что еще жив. В действительности это собрание прошло совершенно иначе, что меня очень удивило. После обычных приказов: «Стоять смирно! Вольно! Внимание! Смотреть вперед!» — банфюрер зачитал дневной приказ, которого я совершенно не понял.

Теперь на очереди был я. Он всех поставил в известность о том, что я официально прикомандирован к нашему подразделению, а на учебу в школу принят потому, что это было пожелание вермахта, так как я служил в 12-й танковой дивизии на Восточном фронте. Теперь банфюрер собирался зачитать рекомендацию от армейской части, подписанную подполковником Беккером. В то время как он читал ее, особенно после формулировки «отличное прилежание, проявленная смелость и примерное поведение», я с облегчением заметил, что те самые пары глаз, взгляда которых я так боялся, смотрят на меня с восторгом и уважением. «В знак признания служения

Родине начальство решило присвоить Йозефу Перьелу, члену гитлерюгенда, звание шарфюрера», — закончил банфюрер Мордхорст.

Собравшимся было чему радоваться. Молодые немцы сходили с ума от желания пойти на фронт и участвовать в боях. Как только учащийся достигал призывного возраста и получал повестку, новость распространялась со скоростью ветра и все стремились его поздравить и порадоваться вместе с ним. Хотя и не без зависти.

И вот на воскресной линейке объявляют, что прибыл семнадцатилетний новичок, который уже принял участие в этой прославленной войне, служил в танковой части, проехал через Россию на броневике и все это перенес мужественно и храбро.

Одним махом все барьеры между нами были устранены, я больше не был чужим. Я был принят как полноправный член содружества.

Новое свое положение я сумел оценить. Я свободнее вздохнул и почувствовал, как во мне растет чувство собственного достоинства.

Нам все еще проповедовали идеи национал-социализма, нам вдалбливали, что нас готовят на роль новой элиты. С этой целью нас посетили высокие партийные товарищи из Нижней Саксонии. Банфюрер шел им навстречу быстрыми широкими шагами, звеня шпорами, он бодро поднял руку. Мы сделали то же самое. Гауляйтер повернулся к нам и ответил коротким: «Хайль Гитлер!» Потом произнес речь и сообщил о своем визите в бункер фюрера в Вольфсшанце[21], откуда тот отдает приказы. И к нам пришел, чтобы рассказать о великом спокойствии фюрера, его уверенности и непоколебимости. Он хотел нас убедить, что фюрер сам по себе есть вернейшая гарантия окончательной победы. О будущем он сказал: «После победы, когда мы овладеем миром, нам будут нужны 100 тысяч фюреров». И пророчески крикнул, показывая на нас пальцем: «И этими фюрерами будете вы!» В зале, украшенном знаменами со свастикой, настала гробовая тишина. Можно было услышать, как у подрастающего поколения поднимается грудь от жажды славы на этом великом поприще. Перспектива самому стать фюрером их зачаровывала. И даже Юпп сам себе бормотал: «Ну, ты это слышал, Шлоймеле? И ты можешь однажды стать маленьким фюрером…»

В конце 1942 года, когда успехи немцев достигли своей кульминации и поход на восток рассматривался как победный, никто не сомневался в великом будущем Третьего рейха. Даже Юпп в это верил. Одна победа следовала за другой, и пропаганда не позволяла возникать сомнению. Как было молодежи не

находиться под впечатлением от обещанного ей блестящего будущего?

Меня занимал вопрос: какое место и какая судьба мне уготованы будут Германией, царящей во всем мире.

От мысли, что и я тоже могу, как утверждал партайгеноссе, получить свою долю славы, у меня пошли мурашки, но я знал, как всегда, чем себя успокоить. Я рассчитывал на мою приспособляемость ко всем ситуациям, также и в будущем германском рейхе, который возродится из руин «слабой разложившейся Европы».

Уверен я был в одном: Юпп никогда не забудет высшей заповеди — защищать Соломона, чья жизнь по-прежнему искоркой теплится во мне.

Жизнь гитлерюнге Юппа шла по определенному порядку. Я был очень рад, что Карл Р. назван моим опекуном, для меня он был, в конце концов, больше, чем комендантом. У меня возникло доверие к нему — ведь он с самого начала встретил меня открыто и готов был всегда прийти на помощь. Это меня успокаивало и придавало мне уверенности. Так, я пошел к нему в кабинет, чтобы поблагодарить за готовность взять надо мной опекунство. Это была еще одна возможность поболтать с ним и выпить. Настоящей моей истории он не знал, мы находили общий язык и друг друга понимали. Хотя никогда не мог бы он стать мне отцом, даже отчимом. Настоящий мой отец в это время погибал в гетто от нечеловеческих нацистских предписаний. И я втайне требовал: «Верните мне моих родителей!»

Я часто уединялся, редко принимал участие в прогулках по городу. В отличие от других, не очень мне хотелось познакомиться с девушками, я стеснялся.

Избегал я всего, что могло вызвать интерес к моей персоне. И все же Эрнст Мартинс, фольксдойче из Украины, меня познакомил с симпатичной девушкой из BDM по имени Лени Лач. Она сразу же мне понравилась. Более того, вызвала во мне любовь. Я сгорал от желания, когда я встречал эту юную девушку, но вынужден был себя сдерживать. У Лени было отличное чувство юмора. Мы прекрасно дополняли друг друга. Она была такой веселой и живой, а я — серьезным и одиноким.

Мы подружились и признались друг другу в любви.

С удовольствием открыл бы я Лени свою тайну, но остерегался любой неосторожности. Это душевное напряжение делало меня еще более впечатлительным и чувствительным. Я искал выхода своим чувствам и писал стихи.

Безутешным вечером, когда находился один в своей комнате, я сочинил несколько стихов, посвященных моей матери. У меня

не было поэтического дарования, но достаточно мне было нескольких простых слов, чтобы высказать свою боль. И этого я не мог открыть Лени, другой моей любви. Как бы ни было нам друг с другом хорошо, она не знала, кто я такой и в какой трагической живу внутренней раздвоенности.

Свои стихи я прочитал только ей во время нашей романтической прогулки за городом. Разумеется, не сказав о настоящей причине разлуки с матерью. Мы сидели друг к другу спиной на густо заросшем склоне. Я осторожно достал из кармана листок бумаги и начал:

Мама…
Пред моими очами сейчас ты стоишь
с материнской любовью,
Из далекой дали посылаю тебе привет свой сыновний,
Чтоб судьба была к тебе милостивой
в твоей жизни нелегкой.
Сердце мое — часть твоего,
Оно любит тебя и зовет.
И ты чувствуешь, как мое сердце стучит,
Как слезы текут из глаз,
И душу мою гложет тоска,
Потому что со мною рядом нет тебя.
И ты все время слышишь, как мой голос зовет:
мама, мама.

И ты знаешь, как в тоске плыву я к тебе.
Единственная моя мечта — о тебе.
И ты видишь, как часто я плачу,
Сердце плавится от любви к тебе.
Ужасно, что так разбросала нас судьба.
Как хотел бы я знать,
Когда мы увидим друг друга опять,
Когда час счастья для нас пробьет
И судьба меня к тебе перенесет.
Я мог бы пройти и тысячу верст
По земле, по воде, и в жару, и в мороз.
Пройти и горы, и долы,
Чтобы только увидеть тебя.

«Очень трогательные стихи», — сказала Лени. Некоторое время она помолчала, потом погладила меня по голове: «Я вижу, что и сирота тоскует по матери, хотя никогда ее не видел и не знал», — сказала она.

«Дорогая Лени, — ответил я. — Человек постоянно несет память о своей матери. Не она ли дала ему жизнь, и даже приказала жить?» Я помнил прощальные слова матери.

Лени не знала причины моего страдания — от меня она слышала выдуманную историю о моей матери.

А вот ее мать, такая нежная, добродушная, однажды мне открыла дверь и сказала, что дочери нет дома. Я уже хотел уйти и зайти попозже, но она пригласила меня войти в дом поговорить. Я согласился. По ее голосу и выражению лица я понял, что разговор будет серьезный. Она указала на античное кресло, в которое я опустился. Она села на канапе рядом со мной. На ее губах была улыбка. Я ответил своей нервозной. Атмосфера неопределенности из-за вечернего сумрака стала совсем угнетающей. Мы долго молчали, потом она неожиданно меня спросила: «Скажи-ка, Юпп, ты действительно немец?»

Прежде фантазии всегда у меня хватало на то, чтобы этот вопрос не застал меня врасплох. Но что со мной случилось теперь? Что это было? Загадочное чувство доверия? Внезапная необходимость открыть съедавшую меня драгоценную тайну? Мгновенное душевное расстройство? Вера в то, что счастливая звезда и в этот раз меня не оставит? Я не мог этого объяснить. В тот решающий момент как будто все собралось пошатнуть каменную глыбу. «Нет, фрау Лач, — сказал я шепотом, — я не немец, я еврей…»

Ответил я без всякой внутренней борьбы. Но тут же был потрясен тем, что я сделал. Только мое дрожащее тело и трясущиеся колени мне показывали, что я жив и дышу. Оцепенев от собственных слов, я промямлил: «Только не в гестапо…»

Мать Лени встала, наклонилась надо мной, поцеловала в лоб, успокоила и пообещала никому не раскрывать моей тайны. Один-единственный момент человеческой слабости, отказа от намерения защищаться и выжить мог стоить мне жизни. И снова я был чудесным образом защищен. У меня было чувство, что я встретил женщину благородную и понимающую. Отца мне назначили по имперскому распоряжению — а эта женщина матерью мне стала по духу. Выражалось это в маленьких знаках внимания: заштопанные носки, кусочек домашнего пирога. При этом я безгранично ей доверял и никогда не боялся доноса с ее стороны. Более того, она поклялась ни за что моей тайны не раскрывать дочери. Мать не была в ней уверена. «Дети сейчас совсем другие» — таков был единственный ее комментарий. Когда я пришел в себя от этого неожиданного и опасного откровения, решился задать неминуемый вопрос: почему она засомневалась насчет моего происхождения? Выяснилось, что

опытная и глубоко чувствующая женщина в моих рассказах заметила некоторые странности. Так, однажды я сказал, что один в этом мире, а в другой раз — что мои бабушка и дедушка жили в Восточной Пруссии. Не помню уже, какой у меня был резон это придумывать. Мой ответ превзошел все ее ожидания. Она предполагала, что не вполне я немец — но то, что я еврей, не могло ей даже во сне привидеться.

Эта исповедь мне принесла необыкновенное облегчение. Почувствовал я себя не таким уж одиноким и покинутым. Лени я открыл тайну только после войны. Она отреагировала с присущим ей юмором: «О, да я дошла до расового позора!»

Лени была глубоко тронута, когда узнала, что я думал о моей матери в лодзинском гетто, когда читал ей свои стихи. Я сказал ей, что вся вера в Союз немецких девушек внутри нее рухнет, когда она поймет, что дружила с евреем, который был ей ближе всех ее приятелей.

Все время в Брауншвейге я испытывал желание посетить близкий отсюда родной город Пайне, но не решался ради того подвергать себя опасности. Пайне я покинул только семь лет назад, и кто-нибудь без труда мог узнать маленького еврея Салли. Несмотря на это, однажды летним утром в воскресенье меня охватило легкомыслие. Какой-то черт гнал меня, и я оказался на вокзале в Пайне. В детстве с друзьями мы часто приходили сюда. Чаще всего мы стояли на деревянном железнодорожном мосту и ждали поезда, дым от которого нас обволакивал и скрывал друг от друга. И теперь я на мосту, но вокруг меня не веселый смех друзей, а беспросветная чужая реальность.

Конечно, никто не должен был меня узнать. Я только хотел бросить печальный взгляд на места моего счастливого детства, окунуться в воспоминания об отчем доме, детском саду, школе — и быстро оттуда уехать.

Уезжал я как невинный ягненок, а вернулся как затравленная волками овца. Но эта овца сумела сменить себе шкуру. Она стала похожей на диких зверей вокруг нее. Это был единственный шанс спастись от палачей.

Некоторое время я рассматривал окружающий пейзаж с моего мостика. Доски, казалось, пострадали от хождения по ним сапог, подбитых гвоздями. Я стоял и думал о другом мосте — о сумасшедшей идее, погнавшей меня на чужбину. Но мой мост был окончательно за мной сожжен. Смогу ли я когда-нибудь снова стоять здесь как свободный человек, как Салли Перел?

Я разгладил черно-коричневую униформу, поправил черный

галстук, посмотрел на свастику на повязке и медленно пошел. Я глазел на витрины, чтобы не привлекать к себе любопытных взглядов. Перед одной я остановился, и боль и горе потрясли меня. В допотопные времена этот магазин принадлежал моим родителям. Теперь там был фотомагазин. На полках не обувь, а фотографии солдат вермахта в обнимку с женщинами и детьми. Перед входной дверью во мне снова ожили счастливые моменты детства, когда я лихо вбегал внутрь магазина и громко требовал денег на мороженое. Если в магазине было много покупателей, меня отец ругал. И я нетерпеливо ждал, когда у него будет время. Его улыбка и желанная денежка все сглаживали.

Но я вспомнил и один грустный случай. Отец послал меня к матери с деньгами, чтобы ей оплатить доставку угля для нашего отопления.

Но как раз в этот день у Ганса Майнерса, моего лучшего друга, был день рождения. По своей наивности я, конечно, решил купить ему подарок. Я пошел в «Крамм» на Марктплац, самый большой в городе магазин игрушек, и там выбрал копию известного корабля за пять рейхсмарок. Сначала продавщица отказалась иметь дело с восьмилетним покупателем и попросила меня прийти с матерью. Но я был упрямым, мне удалось ее уговорить, и я получил что хотел. Гордо я принес Гансу прекрасный подарок и с поздравлениями ему вручил. Его мать наморщила лоб. Довольный собой, я поскакал домой и остаток денег отдал маме. Не оповестив ее об этой покупке подарка, я занялся другими делами.

Вдруг я увидел, что фрау Майнерс у нас дома и о чем-то шепчется с матерью. Я почувствовал, что ничего хорошего не последует. Мама повернулась ко мне со строгим лицом — она хотела узнать правду от меня.

Запинаясь и покраснев, я сознался. Мама оделась, и мы втроем отправились к Майнерсам. Подарок стоял у них в зале. Я должен был эту игрушку отнести назад в магазин. Фрау Шпинциг встретила нас дружелюбно. Только покачала головой, как бы говоря: «Так я и знала…» Корабль я, пристыженный, осторожно поставил на прилавок и так с ним расстался. Но я заблуждался, когда решил, что неприятности на том закончились. Когда отец пришел домой после закрытия магазина и услышал о моем злодеянии, он задал мне трепку.

Воспоминания захлестнули меня. Я думал о моих родителях, о Лодзи. Я хотел туда.

Застыв перед той витриной, когда-то нашей, вспомнил я один вечер 1933 года, когда зарождался «Тысячелетний рейх». Молодчики СА на окнах написали длинными цветными буквами:

«Не покупайте у евреев!» С того времени наш магазин закрылся. Склад постепенно мы перенесли в нашу квартиру. С наступлением ночи верные и смелые покупатели приходили к нам, чтобы купить кожаную обувь или шнурки. Ну, теперь семь лет вычеркнуты. Годы страданий и несчастий. В думах о прошлом я стоял, подавленный, испытывая отвращение от этого мира.

Внутренний голос говорил мне: «Приди в себя, подумай о будущем!» Я очнулся. Магазины были закрыты. Большинство людей находилось на воскресном богослужении. Раньше я с удовольствием проникал в церковь, чтобы послушать орган или хорал. Я продолжил свой путь и дошел до Марктплаца, где царило воскресное настроение. Магазин Шпинцига был переполнен игрушками, но моего корабля там не было. Когда я повернул налево к моему бывшему школьному двору, меня охватило умиление. Ворота и классные комнаты даже в воскресенье и в свободные от школы дни оставались открытыми. Я огляделся и, никого не увидев, вошел. Доверительный запах мастики, вид парт с чернильницами настроили меня на грустный лад. Я сел на свое старое место. Здесь я слушал незабываемые легендарные истории моего учителя господина Филиппса. Он рассказывал о чудесных путешествиях к волшебным звездам, и под его руководством мы нараспев скандировали алфавит.

С этой парты я услышал совсем иную мелодию и отправился в совсем иное путешествие: побег от ангела смерти под пляску смерти. Однажды посреди урока меня вызвали к директору.

В своем кабинете он передал мне официальное письмо родителям и сказал, что я должен собрать свои вещи и идти домой. Просто так: «Возьми свой портфель и исчезни».

Уходил я, всхлипывая, не понимая, почему так. С этого момента начались беды. Ни в чем не было уверенности у гонимого беженца. Будущего не было — только настоящее, полное испытаний и потрясений. Я был исключен из школы, и с этого момента моя жизнь стала побегом. Сидя за маленькой партой, я попытался забыть это прошлое. Я снова был ребенком, как тогда. Но это время безвозвратно ушло.

Я встал, хотел бросить взгляд на свой дом по адресу Дамм, № 1, где я родился и жил. Возбужден я был так, что лучше бы мне вернуться в Брауншвейг. От школы до моего дома было несколько минут. На этой улице я знал каждый камень и каждый угол. Здесь, как раз здесь на меня наехал велосипед. Но я встал как большой и продолжал играть дальше. А здесь, у стены дома, мы всегда играли в камушки.

Погруженный в свои мысли, я пошел дальше и вдруг очутился на улице напротив дома, где родился. Из окна смотрел

бывший сосед господин Нахтвей. Я чуть было его не поприветствовал. Но отвернул голову, боясь, что он меня узнает. Он часто держал меня на коленях и рассказывал мне интересные истории. А теперь я не могу ему сказать даже «Добрый день».

В одном из окон моего прежнего дома появилось лицо молодой женщины. Не придет ли ей в голову, что юноша на другой стороне улицы был когда-то счастлив в тех же комнатах? Здесь я появился на свет, здесь смеялся и плакал, болел и выздоравливал. Но теперь вход туда мне запрещен.

Большой зеленый дом Майнерсов на углу улицы примыкал к нашему красному кирпичному. Сюда я тоже не мог войти, хотя тогда играл с детьми из этого дома. На правой стороне здания находились пивная и зал для собраний Луизенхоф. Огромная надпись возвещала: «Немецкий рабочий фронт — региональная группа Пайне». В широком внутреннем дворе прежде размещались свинарник, сарай и писсуар. Пожалуй, излишне описывать исходившие оттуда запахи. Когда я еще здесь жил, всегда меня пугали пьяницы, которые после пива заходили туда мочиться и при этом орали уличные песни своими далеко не мелодичными голосами. Они ругали все, что стояло у них на пути. На каждом празднике я был заинтересованным зрителем. Я был очарован визгом свиней и восторгался ловкими руками, занятыми убоем. Был там еще сарай с сеном, где мы с Кларой, Теа и Гансом тайно играли в «папа — мама — ребенок».

В большом зале проходили собрания местных ячеек коммунистической и социал-демократической партий. Тогда я слушал страстные речи, не понимая, конечно, их содержания. Понял только, что идет спор в связи с провалом общего союза против национал-социалистов. Они висели на волоске, но подтверждалась известная пословица: когда двое спорят, третий радуется. Распрями завершалось большинство тех собраний. Часто зал штурмовали СА, сопровождаемые гитлерюнге. Иногда они пускали в ход ножи и кинжалы, и некоторые участники были ранены. В такой стычке убит был ученик мясника Эмиль, один из лучших друзей моего брата. Полиция вмешалась очень поздно.

Сначала я решил воздержаться от визита в пивную — счел это самоубийственным легкомыслием. И все-таки оказался, не помню как, за маленьким четырехугольным столиком. Какая-то непреодолимая сила привела меня сюда.

Посетители отхлебывали пенное пиво из огромных кружек. Густой дым стоял в воздухе. Майнерсы обедали за своим столом. Мать, все такая же толстая, не изменилась. Лысина ее мужа блестела по-прежнему. А дочки превратились в прелестных молодых женщин. Ганса не было, наверное, его уже призвали. И

вдруг меня пронзил страх — я должен встать и уйти. Но остался сидеть, как привязанный, со свинцовыми ногами. Все мои внутренние сигналы тревоги отказали, мой разум, обычно такой быстрый, не срабатывал. Как же я мог оказаться в таком положении? Семья Майнерсов раньше придерживалась леволиберальных воззрений. Верны ли им и теперь или поддались, как многие другие, нацистской пропаганде? Эта запретная встреча с прошлым могла привести к катастрофе. В Пайне я родился — в Пайне моя жизнь и кончится. Горько раскаиваюсь в тогдашнем легкомыслии — я ведь нарушил приказ матери бороться за свою жизнь. Но обратного пути уже нет. Первой нового посетителя заметила Клара. Она положила нож и вилку, вытерла руки и поднялась, чтобы принять у меня заказ. Со страхом я ожидал развязки. Но мосты были сожжены. С вежливой улыбкой, подобающей официантке, она подошла к моему столику. Я внутренне собрался, чтобы сохранить спокойствие, попытался выглядеть невозмутимым, чтобы не вызвать подозрения.

Прежде всего я избегал любого зрительного контакта. Что же сейчас произойдет? Решится ли она меня спросить, вправду ли я Салли? Или она будет настолько в том не уверенной, что воздержится от вопроса? Ведь перед ней сидит безупречный гитлерюнге, ротный командир во всем своем блеске. Даже если бы я выглядел как Салли, она бы не поверила.

Я заказал смешанное пиво: половину темного, половину светлого. В эту секунду я, несомненно, сошел с ума. Я поднял голову и посмотрел ей прямо в глаза. Она изучающе на меня смотрела. Волна страха накрыла меня. В этот момент я решил отрицать все, что она скажет, если меня узнает. Но она безразлично взглянула, приняла заказ и пошла выполнять свою работу. Ей даже не пришло в голову задать вопрос. От ее безразличия волнение немного улеглось. Я чувствовал, что она ведет себя естественно и не пытается меня разоблачать. Она меня просто не узнала. Я сразу расплатился и большими глотками осушил кружку. Клара опять села за хозяйский стол, а я незаметно исчез. По дороге на вокзал я ни разу не обернулся. Я быстро шагал. У меня было чувство, что меня кто-то преследует и в любой момент преградит мне путь. Я сел в первый поезд на Брауншвейг.

Позже, когда я встретил Клару Майнерс-Фрилинг, я узнал, что она меня не запомнила. По ее словам, многие гитлерюнге были завсегдатаями их кафе и она не запоминала каждого из них.

Само собой, Герхарду, моему соседу по комнате, я не рассказал о своем тайном визите в Пайне, наш общий город. Я

поклялся никогда не возвращаться в «запретный» город — только если свободным и в «свободный» город.

Но все-таки сильная и неуклонная потребность быть вблизи того, что напоминает о доме, постоянно гнала меня туда.

Сердечные отношения с фрейлейн Кехи мне доставляли некоторые приятности. Время от времени она меня приглашала на концерты или в оперу в городской театр Брауншвейга. Эти вечера очень меня культурно обогащали.

А я не мог подавить тоски о надежном месте. Юность я провел в детдоме, в окопах, бункерах и чужих домах. Я жаждал теплой атмосферы, полной любви, хотел снова ощущать запахи нашей кухни или спальни. Я завидовал своим товарищам.

У всех были семьи. Временами, бывая дома у моего однокашника, я с любопытством рассматривал и впитывал все, что семье обеспечивало нормальную жизнь. Поэтому я был просто счастлив, когда фрейлейн Кехи пригласила меня к себе домой. Я наслаждался уютом, о котором почти забыл и которого мне так не хватало. Это было скромное утешение, но при этом я представлял своих родителей и мое страдание немного смягчалось. Для хозяйки это был нормальный визит вежливости. Для меня не так. Я часто заглядывал к ней, и это осталось в моей памяти.

Летом 1943 года семья Кехи организовала мне отдых у ее близких родственников в Тале, маленьком городке в Гарце, в горах редкой красоты. Там, на круглых скалах вблизи кристально чистого источника, поэт и мыслитель Гете в окружении светло-зеленых гор создал «Фауста».

С вершины горы, расположенной напротив, я отчетливо видел то место, где танцевали ведьмы, когда в полночь они начинали шабаш.

Каждый день я в одиночку совершал прогулки по окрестностям. Чувствовал я себя свободным и счастливым. Сидя на скале Гете, окруженный тайнами, в мечтах я снова возвращался к своему отчиму дому. Боль меня пронизывала тысячью иголок. Из своего блокнота я вырвал несколько страниц и написал исповедь, в какой высказал упрек Создателю мира сего. В то время как я бился над выражением своих мыслей, мимо проходила молодая парочка, говорящая по-французски. Скорее всего, они были иностранными рабочими. В густых зарослях они сняли одежду и голыми прыгнули в речной поток. Горы повторили эхом их крики радости, как бы говоря: не сомневайтесь, будущее принадлежит нам, принадлежит нам…

И вот в этот самый момент я сочинил свое прошение.

«Я, Соломон Перел, еврей, сын Ребекки и Израэля, младший брат Исаака, Давида и Берты, после себя оставляю миру это

воззвание. Господь Бог мой, Который на небе, Который создал мир и людей, зачем невинного ребенка Ты обрекаешь на одиночество и муку? У меня больше нет сил все это выдержать. Прошу Тебя, верни мне мой дом, моего отца и мать. Молю Тебя о том, чтобы скорее настал день, когда мы снова объединимся и будем свободны. Аминь». Я свернул лист и с тихой молитвой торжественно засунул его в найденную там железную банку, опустил ее глубоко в расщелину скалы, на которой сидел и со слезами писал.

В свободные вечера я с удовольствием играл в шахматы с Отто Цогглауэром. После того как я его ознакомил с основами этой увлекательной игры, он стал страстным игроком и был счастлив тем, что я его постоянный партнер. Однажды, когда мы углубились в игру, он меня вдруг спросил: «Кто тебя научил так хорошо играть?»

«Бывшие друзья», — промямлил я печально и перенесся в другое время и в другое место.

Я не мог рассказать ему правду о моих друзьях. Их звали Ежик Раппопорт и Яков Люблинский. В нашем классе в Лодзи была такая тройка друзей: Яков, Ежик и Залек («Салли» на польский манер). Мне было двенадцать-тринадцать. Мы вместе учились, играли и чувствовали вместе, постепенно открывали мир взрослых. Были меж нами маленькие разногласия, но мы их не заостряли. Я ходил в сионистский клуб «Гордония»[22], тогда как оба моих товарища были пламенными приверженцами Бунда[23] — крайне левой антисионистской еврейской партии. Мне это не мешало время от времени посещать их клуб, чтобы там читать еврейские газеты и слушать доклады. Позже и я вступил в Бунд, и там оба моих друга посветили меня в тайны шахматной игры. Мы трое часами склонялись над шахматной доской.

Когда началась война, все связи порвались. Ежик и Яков остались в Лодзи, а я с братом Исааком ушел на восток. После войны я узнал, что Ежик остался верным своим воззрениям. Во время войны он возглавлял ячейку коммунистической партии в лодзинском гетто, и многие люди от его мужества черпали силу и надежду. Его короткая жизнь закончилась трагически и странным образом. Ему удалось пережить все лишения войны, он был освобожден солдатами Красной армии. После он влюбился в еврейскую девушку, но та на его любовь не ответила и вышла замуж за другого.

Самообладание и огромная сила воли, которые позволили ему выстоять ужасы войны, оставили его, и он покончил с жизнью. Но Якова я имел счастье увидеть снова.

Когда я еще жил в детдоме, однажды нам объявили, что приезжает самодеятельный оркестр одной из минских школ. Среди музыкантов я увидел Якова.

Мы обнялись, я не отходил от него до концерта, и еще потом мы были вместе, пока не наступило утро. Мы давились от смеха и глотали наши соленые слезы радости и горя — по вкусу из не различить. После того трогательного свидания я больше никогда его не встречал.

Я молчал, сильно задетый воспоминаниями. Всего этого я не мог рассказывать Отто Цогглауэру. Но чувствовал я себя великолепно, когда ему поставил мат. В знак благодарности за обучение и партнерство Отто мне подарил дорогие шахматы, которые привез из дома во время каникул. До сих пор ими играю.

Однажды он пригласил меня на кинокомедию с Хайнцем Рюманном. Фильмы того времени, в основном кичливые мелодрамы со счастливыми персонажами, пребывающими в безопасности и комфорте, всегда хорошо кончались. Но этот контраст с моим личным положением только усиливал мое горе. И все-таки я часто ходил в кино, в основном ради того, чтобы посмотреть хронику.

По дороге нам попался большой плакат на афишной тумбе. Изображение еврея с отталкивающим лицом, выступающим животом, увешанного бриллиантами сопровождалось надписью «Еврей — поджигатель войны».

Когда Отто увидел плакат, выражение лица у него изменилось. Он покраснел, и подбородок его задрожал. Хвастливо, даже весело он схватился за кинжал с надписью «Кровь и честь» и полушутя-полусерьезно воскликнул: «Ах, если бы один из евреев был здесь!»

Я не знал, смеяться мне или негодовать, а потому не среагировал. Несмотря на разгоравшийся во мне гнев, я взял себя в руки. Только презрительно скривил губы: «Пошли, иначе опоздаем на фильм!» И потащил его за собой. И теперь мне удалось сохранить спокойствие. Плакат не выходил у меня из головы. В очередной раз понадобилось сделать из евреев козлов отпущения. Надежды на блицкриг не сбылись, на Восточном фронте армия застряла в болотах. Недовольство уже заметно было даже в тылу. С горечью считали потери. Вот тогда министр пропаганды Йозеф Геббельс обратился к соотечественникам с такой речью: «Вы знаете, кто в этом ужасном положении виноват? Евреи. Они принудили нас к войне, и у них есть интерес ее продлить, чтобы на ней обогатиться».

Мой друг Отто тогда и не подозревал, что в течение короткого времени останется в Европе, кроме Юппа-Соломона, не

так много евреев и что как раз его соотечественники обогатятся на их бриллиантах, золотых коронках, костях и волосах. Да и Юпп этого еще не знал, хотя на уроках мы учили, что уничтожить евреев необходимо. Но как и когда?

Фильм все-таки помог мне забыть мою боль и мой гнев. Он был чисто развлекательным и временно снял мое внутреннее напряжение. В зрительном зале находились в основном женщины, так как большинство мужчин были призваны на фронт. В тылу оставались только старики и военные-отпускники.

С Цогглауэром я встретился после войны — таким образом еще раз уступил свое место Юппу. Было это в 1947 году в Мюнхене. Я жил у брата Исаака. У него я встретил знакомых ему евреев, переживших концлагерь. Когда я им рассказал, что был в гитлерюгенде, они это приняли как фантастику: «Ты с ума сошел. Ты все выдумываешь!» На что я ответил: «Я могу вам это подтвердить». Тогда-то и пришел мне на память Отто из Мюнхена. Я знал только его имя и дату рождения, но этой информации было достаточно для того, чтобы узнать и адрес. Я едва мог ждать, сел в трамвай, потом в автобус, чтобы доехать до его дома. На табличке у звонка написано: «Семья Цогглауэр».

Дверь мне открыла его мать: «Да, мой сын дома».

Воспоминания о прошлом живо напомнили о себе. Еще я не вжился в свое новое положение, не привык к неоценимому богатству под названием «свобода». Юпп искал товарищей — Салли же относился к этому холодно, он был скорее надменным и высокомерным. Отто вошел в комнату, мы стояли друг напротив друга. Его радость была заметна. Я тоже сиял. Но прежде говорил только Салли, побуждаемый желанием поделиться новостью о долгожданном триумфе жизни. Мы тепло поздоровались.

Наступил момент истины. «Отто, теперь послушай. Я хочу открыть тебе свою тайну. Я никогда не был немцем, я с головы до ног еврей». Возникла неприятная пауза. Отто побледнел и спросил, как мне только удалось это скрыть. Он справился с другими своими чувствами и казался вполне спокойным.

Я ему все рассказал. Когда закончил, он посмотрел на меня, смущенный, и сказал: «Да, я осознаю, что нас обманули. Драма в том, что наш народ, и прежде всего наша молодежь, так легко поддается пропаганде…»

Я не знал, чем ответить… У меня не было к нему сочувствия. Долгое время мы сидели вместе, нам, наконец, было что друг другу рассказать. Потом я предложил пойти со мной к моему брату. Некоторое время он, конечно, колебался — ведь я ему сказал, кого он там встретит. И все-таки согласился.

В следующее воскресенье мы пошли к Исааку и его жене Мире. По этому поводу она испекла традиционный сырный пирог.

Приглашены были те же его знакомые, что с недоверием восприняли мою историю. Отто и я рассказали о нашей прежней жизни и таким образом устранили их сомнение в правдивости моих рассказов. Заодно и Отто окончательно убедился в том, что я — еврей.

В нашем общежитии каждые четырнадцать дней мы получали увольнительную. Чаще всего мы ее использовали на то, чтобы в пивной выпить пива и поесть картофельное пюре с овощами — единственное, что было возможно без продовольственных карточек.

В эти вечера вокруг нас были симпатичные девушки из BDM, они славились близкими отношениями со многими ребятами, в том числе из нашей группы.

Когда однажды выяснилось, что некоторым из них предстоит врачебное обследование на известный предмет, я немного испугался. Болтали, что у них триппер и несколько молодых людей заразились.

Громкий скандал! Наша цитадель «чистоты и чести» пришла в волнение. У меня с ними ничего не было, но меня съедал страх: не вызовут ли всех, с кем они встречались? А тогда не будет у меня никаких шансов скрыть обрезание. Мои нервы напряжены были до предела. Но постепенно вызовы все реже залетали в дом, а потом и вовсе прекратились. Моего имени в списках не оказалось.

Я вздохнул. Дни страшного ожидания пролетели, и кошмар от меня отступил.

Это было в декабре 1943 года в канун рождественских каникул. Однажды вечером в читальном зале я готовился к разговору с прибывшей к нам группой четырнадцатилетних подростков. Мне, как ротному, поручили их «просветить». Я должен был им доложить что-нибудь о значении немецкого крестьянства, «сохранившего в чистоте» кровь и расу. С надлежащей серьезностью я углубился в литературу, представленную в большом объеме. С давних пор я был любознательным. Сколь ни чуждым было мне это задание, выполнил я его наилучшим образом. В качестве Юппа я был убедителен.

Мальчики из моей группы любили меня и уважали. Меня окружал нимб «старого ветерана», который сражался в танковой дивизии. Мозги у них окончательно были затуманены, и ими можно было манипулировать. Я знал, какие тут словеса в ходу, потому мне легко удавалось составлять доклады в национал-

социалистическом духе.

Итак, в тот вечер я спокойно сидел в читальном зале и составлял свой доклад. И тут услышал тихий разговор сидящих за соседним столом товарищей. Я понял, что они уже получили увольнительные на Рождество и железнодорожные билеты и теперь радовались скорому свиданию со своими близкими. «У моих родителей…» — постоянно звучало у меня в ушах и становилось все громче. Меня бросило в жар. Мои сухие губы беззвучно произносили: «У моих родителей… У моих родителей…» Чувство глубокого одиночества глодало меня. Я резко собрал всю лежащую передо мной литературу и раздраженно поставил на место. Как ужаленный, я поспешил в канцелярию к фрейлейн Кехи. Мой внутренний голос возмущался: «Юпп! Все будут проводить праздники у своих родителей, и только ты опять останешься один, нет никого, кто был бы рядом с тобой!»

Я восстал против этого. На сей раз так не будет. У меня, у Салли, тоже есть родители! И что с того, что они заключены в гетто? И у меня, как у каждого ребенка, есть на них право. Даже если мне это будет стоить жизни? — спрашивал я себя. Но не хотел признавать опасности. Волны глубокой тоски нахлынули на меня и потоком понесли за собой.

С решением ехать в Лодзь я появился в школьном секретариате. Фрейлейн Кехи была еще там. У нее было полно дел с подготовкой бесчисленных поездок, и когда я появился, вместе с кадровиком она склонилась над стопкой бумаг. Отправляющихся на рождественские праздники нужно было снабдить не только увольнительными, а еще и продовольственными карточками, карманными деньгами и билетами туда и обратно.

А тут вдруг возник я и помешал их работе. Они посмотрели на меня, и я произнес твердым голосом: «Я хотел бы уехать на каникулы и просить вас обеспечить меня необходимыми проездными документами». Они удивленно на меня уставились. После короткой паузы кадровик сказал:

— Ага, и куда же ты хотел бы поехать?

— В Лодзь.

— И что тебя туда тянет?

— Уладить некоторые дела, — сказал я немного неуверенно.

Его голос стал строгим:

— Я не намерен удовлетворять твою просьбу. Мы отвечаем за благополучие и безопасность ученика Перьела. Незачем подвергать себя опасности. Я с удовольствием приглашаю тебя со мной и моей семьей справить рождественский вечер.

Я был подавлен. Мое неожиданное намерение могло не осуществиться. Фрейлейн Кехи заметила мое состояние и вмешалась. Мое загадочное желание кадровику она «объяснила» так. Газеты недавно информировали о заселении оккупированных польских территорий в рамках германизации. Там живут тысячи немецких семей — выходцев с востока. Среди них могут быть люди из Гродно, и он, Йозеф, намерен, видимо, попытаться в своем родном городе раздобыть какую-нибудь информацию о своих близких. Она добавила, что ротный Йозеф очень самостоятелен, имеет фронтовой опыт и на него можно положиться. Предположения любезной секретарши меня тронули. Внутренне я благодарил ее за доброжелательность. Она не знала, как же ее слова близки к истине!

Когда в 1985 году я приезжал в Брауншвейг, то побывал в гостях и у фрейлейн Кехи. Она вспомнила о моей тогдашней просьбе и сообщила мне то, о чем я не имел никакого представления. Мое желание поехать в Лодзь очень многих в интернате удивило, и там распространились опасные для меня слухи.

Я поблагодарил кадровика за приглашение провести рождественские праздники в кругу его семьи, однако повторил свою просьбу. Секретарша меня поддержала, заявив, что она лично не против этого путешествия. И тот ее доводам поддался. «Я вам очень признателен. Большое спасибо, — сказал я и, счастливый, добавил: — Хайль Гитлер!»

До рождественских праздников оставалось несколько дней. Всевозможные вопросы нахлынули на меня. Куда меня приведет этот храбрый поступок? Я не желал ничего, кроме осуществления своей мечты, которое и обещало счастье, и грозило гибелью. Но о последствиях я тогда не думал.

Итак, я стал готовиться к путешествию. Достал положенные документы: официальную увольнительную, удостоверение гитлерюгенда, водительские права, продовольственные карточки; карманные деньги, безупречно отглаженные коричневые рубашки. Сам тщательно почистил зимнюю униформу, каждый значок, каждую пуговицу. Мой необычный замысел сопряжен был с большим риском. Казалось, кто-то написал сценарий, а мне следует в согласии с ним убедительно, до малейшего нюанса сыграть свою роль. Я не должен был допустить ни одной ошибки. Чтобы найти мой народ, моих родителей, живущих в гетто, мне предстояло не только провести долгие часы в поезде, но и прибыть в другой мир… Два мира друг от друга были так далеко — как земля и луна. А я между ними, в каждом из них, и ни в

одном полностью…

Я знал, что меня ожидало, но не хотел себе в том признаваться. Если я оступлюсь, стану жертвой внезапного искушения и погибну? Дабы унять волнение, я пытался свое намерение «перевести» на общепонятную потребность: увидеть своих родителей, провести с ними каникулы и затем вернуться. Так же, как и мои товарищи. Конечно, удивительно, что я, гитлерюнге Соломон, хочу того же, что и все. Отчаянный зов одинокого ребенка стал действительностью, я простился с моими товарищами, которые тоже поехали на каникулы. Я постарался быть незамеченным. Поблагодарил их за пожелания хорошего праздника и хорошей поездки и пожелал им тоже всего хорошего, выразив надежду на скорую встречу. Но вернусь ли я? Увидят ли они меня снова?

Я этого не знал. Но эти вопросы не очень меня занимали и ни в коем случае не перечеркивали моих планов.

На вокзал я отправился в униформе, украшенной почетными значками. Мое путешествие, проходящее в несколько этапов, могло быть трудным. Я должен быть готовым к строгому контролю со стороны гестапо и криминальной полиции. Они были заодно, у обеих право бросать в тюрьму, пытать и убивать. По части «ликвидации» вражеских элементов, а именно евреев, между ними не было разницы.

Даже зная это, от своего намерения я не отказался. Трамваем доехал до вокзала, удобно устроился в купе. Везде царило предрождественское настроение. Прозвучал сигнал, и поезд тронулся.

Я углубился в газеты со статьей о «стратегическом восстановлении восточного фронта» — так официально представлялось отступление. Уже через короткое время поездки у меня закралось сомнение. Из-за газеты я видел пролетающие мимо вскопанные поля. Внутренний голос шептал: «Приди в себя, нет никакого смысла ехать дальше. Вернись в Брауншвейг. Для чего ты играешь своей жизнью? Не отказывайся от того, что имеешь!» Я высунул голову в окно, чтобы мрачные мысли из нее вылетели. Потом снова опустился на сиденье и, чтобы унять волнение, откусил от бутерброда с корейкой.

В голову приходили противоречивые мысли. Голос раскаяния становился все громче. А поезд шел все дальше на восток.

Я ерзал на своем месте туда-сюда. С пролетающего ландшафта за окном глаза переходили на газету, на которой я уже не мог сосредоточиться. Попробовал поспать, но мои колени

непрестанно тряслись. Монотонное грохотание поезда, разговоры в полголоса, нерегулярное хлопанье дверьми — все смешалось. На улице свистел ветер. Вдруг откуда-то я услышал приказ: «Приготовьте Ваши документы для проверки!» Свет включился, и Юпп принял выправку. Йозеф Перьел из северной Нижней Саксонии готов к контролю. Дверь купе открылась, в дверном проеме появились двое строго смотрящих мужчин. На них были длинные черные зимние пальто, шляпы с широкими полями, они предъявили удостоверения полицейских. Документы моих соседей по купе были тщательно проверены. Одного даже спросили о цели поездки, другой должен был открыть свою сумку. Наступила моя очередь. Не колеблясь я достал свое разрешение на поездку и удостоверение гитлерюгенда. Я старался не вызвать никаких подозрений, попытался выразить понимание того, что проверка необходима. Оба опытных чиновника ограничились коротким взглядом на меня, отдали мне документы и с «большое спасибо, хайль Гитлер!» закрыли за собой дверь.

Я глубоко вздохнул: опять преодолел препятствие, опасные минуты миновали. Они забрали бы меня с собой в их подвал в гестапо, если бы обнаружили, какая первоклассная им попалась жертва. Как бы их поздравляли, как бы похлопали по плечу, поймай они еврея, переодетого в форму гитлерюгенда!

Мы переехали границу. Названия городов и ландшафты подтверждали, что мы в Польше. Мы подъезжали к Лодзи. Поздно ночью я прибыл на вокзал Лодзь-Калиская. Решил не искать отель заранее, чтобы избежать риска: там нужно заполнять гостевую карточку. Я не хотел общаться с польской администрацией гостиниц — кто лучше их может распознать еврея? Из-за этой опасности я предпочел отказаться от комфорта и ночь провести на вокзале. День и ночь он кишит людьми, так что если ночью кто-то расположится на широкой деревянной лавке в углу зала ожидания, это никому не бросится в глаза.

Я намеревался каждую ночь менять лавку. Я не хотел упускать из виду меры предосторожности, чтобы не попасть в руки гестапо и полицейских шпионов, которые здесь постоянно слонялись.

Все-таки в униформе и с настоящими документами наполовину я был безупречен. Но вторая половина из-за необычного поведения угрожала вызвать подозрение. Я не мог раздвоиться, и стать как бы отлитым из одного куска тоже было невозможно. Придется мне состоять из двух разнородных половин.

Свой чемодан я сдал в камеру хранения, при себе оставил только самые необходимые вещи. Я бродил по вокзалу, который

знал с того времени, как стал «большим мальчиком». Лодзь-Калиская был огромной узловой станцией. Бесчисленные пассажиры постоянно входили и выходили. Я кружил по этому вокзалу и вспоминал о многом. Раньше я часто отсюда уезжал. В те времена, до Холокоста, когда для меня еще светило солнце.

Через несколько недель после того, как мы с родителями переехали в Лодзь, один из близких родственников со стороны отца на каникулы пригласил меня в известнейший в Польше курорт Чехочинек. Там мне понравилось. Всю местность покрывали сады с белыми и красными цветами — цвет польского национального флага, символ невинности и любви. И все-таки моему родственнику я доставил неприятность — по дороге туда меня постоянно рвало. Помогла мне одна старая мудрая женщина. Она ему посоветовала посадить меня по направлению движения.

И сейчас, в этой поездке, полной опасности, я тоже чувствовал позыв к рвоте…

Вспомнил я и другие каникулы. В 1938 году мои родители послали меня в Хелм, к двоюродным братьям моего отца. Маленького Шлоймеле там сердечно приняли. У хозяев за городом был дровяной склад. Я принял участие в великолепной еврейской свадьбе, хозяин дома ее устроил своему сыну. Моя комната находилась как раз рядом с новобрачными, а кровать стояла у стены их комнаты. После праздника поздно ночью меня разбудил необычный шум. На цыпочках я подошел к двери и глянул в замочную скважину.

Лежа потом в теплой постели, я предавался фантазиям, и меня посещали благостные мысли и чувства. Впервые что-то я узнал об этой стороне любви. Молодая пара меня не заметила… Этим мой визит в Замок не ограничился. Мне открылся еврейский мир, которого я еще не знал и которому так суждено было вскоре разрушиться. Мы провели беспечные дни, никто не подозревал, что скоро в ближайшее время случится в Треблинке[24].

Сегодня я глубоко скорблю о трагической судьбе гостей на той свадьбе, судьбе моих родственников, молодой пары и, вероятно, родившегося у них ребенка. Когда я вспоминаю о Треблинке, эта семья у меня перед глазами. Сердце разрывается, когда я думаю об этих дорогих людях, которые никогда больше не вернутся.

В 1939 году, после того как с превосходным свидетельством окончил основную школу в Лодзи, я поехал с моими родителями в маленькую польскую деревню Колумна. Мысль, что после каникул я пойду в еврейскую гимназию, наполняла меня

радостью.

Но все пошло по-другому. Нападение немецкого вермахта на Польшу положило конец беззаботным каникулам в прекрасных окрестностях в Колумне и всем школьным планам. Из этой деревни мы не смогли уехать домой на поезде, потому что рельсы после бомбардировки были повреждены. Мы взяли лошадь у одного польского крестьянина. Каким-то образом добрались до Лодзи. А через четыре месяца после этого родители уговорили нас с братом бежать.

И теперь, в эту ночь, через четыре года, я снова здесь с выправленными документами и только внешне совершенно спокойный.

Всю ночь меня терзали воспоминания. Я не мог спать и среди ожидающих пассажиров провел часы, казавшиеся бесконечными. Не чувствовал сурового ночного мороза. Я ожидал следующего утра. Оно медленно приближалось. Несколько чашек заменителя кофе, который здесь продавался, помогли мне выстоять длинную ночь.

На рассвете я себе внушал: больше не нервничать. Но мое нетерпение росло донельзя. Мои родители жили под тем же небом, в том же самом городе, но от меня они были так далеко, как будто бы они находились по другую сторону границы, даже на другой планете — только по вине нацистов.

До того как начался день, я размял ноги, затекшие от усталости, и пошел в туалет, чтобы умыться и привести в порядок одежду. Еще раз проверил свою внешность и, удовлетворенный, направился в гетто. Соломон-Юпп, уверенный в себе, спустился по каменной лестнице вокзала и пошел к центральной остановке трамвая. Я знал, где находится гетто и где жили мои родители. Адрес они написали на одной из открыток, посланных в детдом. На первом вагоне трамвая я увидел: «Только для немцев». Не колеблясь я сел в вагон на правах немца из рейха. Но как только доеду до гетто, снова буду тем, кто я есть на самом деле… Так кто же? Я не знал…

Сигнал отправления отвлек меня от моих мыслей. Мы поехали. С любопытством я глядел на знакомые мне улицы. Когда по улице Петрковской мы приблизились к центру, я мог хорошо рассмотреть здания. Мы проезжали мимо бывшего филиала фирмы «Джентльмен», откуда перед разграблением вынесли складывающиеся зонтики, которыми «финансировалось» наше с братом путешествие на восток. Когда-то в этом процветающем городе шла бойкая торговля. Здесь родились Артур Рубинштейн[25], работали Шимон Джиган, Израиль Шумахер[26] и другие артисты и художники еврейского происхождения.

Теперь это город-призрак. Жители крадутся по улицам, униженные оккупантами, те с ними обращаются как с подонками. Некоторые магазины и кафе свои услуги предлагали исключительно немцам. Даже трамвай, в котором я ехал, не для поляков…

Отторжение у меня вызывало это низкопоклонство перед новыми господами, прибывшими с запада. Антисемиты и лизоблюды предлагали им свое мерзкое сотрудничество, вместо того чтобы присоединиться к соотечественникам, боровшимся за свободную Польшу.

Я чуть было не проехал свою остановку. Прежде она называлась площадью Свободы и привлекала красотой зданий со статуями и живописными балконами. Лодзь немцы переименовали в Лицманнштадт, и этой площади тоже дали другое название. Отсюда расходятся многие главные улицы, одна из них, Новомайская аллея, вела в гетто. Часть пути я прошел пешком и дошел до улицы Полноцна, до знакомого мне угла. Многие дома были снесены. Вокруг гетто проложили своего рода пограничную полосу, дабы воспрепятствовать побегам. Здесь перед войной я навещал родственников в доме номер 6. Каждый шабат после традиционной трапезы мы совершали прогулки до этого места, потом пили чай у родственников. Вкус макового пирога до сих пор остался у меня во рту…

Я залез на груду развалин. Оттуда я мог впервые посмотреть на гетто. Я оцепенел. За высоким забором медленно и согнувшись двигались серые фигуры.

Ужасное зрелище! У меня потемнело в глазах и перехватило дыхание. Слезы выступили на глазах, я чувствовал на губах их соленый вкус. Хотя бы еще раз увидеть своих любимых родителей. Я истосковался по матери, по ее нежным чертам, по интеллигентному облику отца.

Я хотел своим появлением зажечь в них искру счастья, послать луч света в ужасную тьму их жизни, смягчить их мучительную тоску по сыну.

Если им действительно предназначена смерть, то перед тем, как найти последний покой, они должны знать, что их сын Шлоймеле жив.

Я все еще стоял на груде развалин и смотрел, потрясенный этим трагическим, мучительным узнаванием. Я чувствовал, как мое спокойствие отступает. У меня все расплывалось перед глазами. Я уже больше не знал, что я и кто я, кого ищу и зачем…

Я спустился с кучи мусора и приблизился к забору. Казалось, мои шаги не касаются почвы, я ощутил пустоту вокруг себя. Перед ограждением я остановился. Потрогал толстую

заржавевшую проволоку. Как сквозь туман заметил большую желтую вывеску, на которой большими буквами было написано: «Еврейский жилой квартал. Запретная зона — опасность эпидемии»

Евреи из гетто глазами проходили передо мной, как тени. Мои братья, облаченные в лохмотья. Невыразимая печаль парализовала меня. Как долго, уже целую вечность я не видел ни одного еврея. Кроме гротескной карикатуры в моем классе…

Я стоял и смотрел, загипнотизированный их замедленной походкой; они, казалось, отчаянно оберегали крохотное пламя жизни, оно еще тлело, но грозило погаснуть.

Моим товарищам по школе через четыре дня предстояло праздновать «святую ночь» — рождение Иисуса. Под сверкающими звездами на елках они хором будут петь рождественские песни. Мое сердце замерзло, и не было ничего, что могло бы его отогреть.

Вдруг я увидел женщину, которая проходила мимо меня за оградой. Она делала усилия, переставляя одну ногу перед другой, и была замотана в серую с черной каймой шерстяную шаль. Было очень холодно, и она пыталась сохранить тепло. Вдруг я почувствовал, что знаю ее. Она была похожа на мою мать. Она ли это? Я пристально уставился на нее. Моя фантазия убедила меня, что определенно это она. О Господи, я пришел сюда издалека, чтобы увидеть свою мать. Может быть, ее сюда привел один из Твоих ангелов?

«Мама, мама, — безмолвно произнес я, приникнув к забору. — Я приехал, чтобы сказать тебе спасибо, мама, чтобы показать тебе, что не напрасна ужасная жертва, на которую ты себя обрекла. Когда я буду большим и у меня будет ребенок, я смогу измерить силу твоей внутренней борьбы и твою глубокую боль, когда ты сказала: „Исаак, сын мой, возьми с собой маленького Салли и веди его навстречу жизни“. Я был у тебя отнят, а теперь опять пришел к тебе. Только забор нас разделяет. На улицах я не вижу детей… А ты, ты спасла меня!»

Женщина продолжала свой путь, она даже не оглянулась в мою сторону и свернула за угол. Я стоял в шоке. Хотел ее окликнуть, но чувство самосохранения меня от того предостерегло. Меня колотила дрожь. Я пошел вдоль забора по направлению, в котором исчезла женщина. Как долго и как далеко, я не знал. Вдруг я очутился перед воротами гетто.

Ворота со створками из толстых деревянных досок были открыты. Я огляделся и увидел надпись «Франциscанерштрассе». Как близко я был от моих дорогих родителей. Только несколько домов отделяли меня от осуществления моей ностальгической

мечты. Всей душой меня тянуло к номеру 18. В начале улицы шли несколько человек, каждый из них был похож на мать или на отца. У меня разрывалось сердце. И теперь мой «контролер» не мог мне препятствовать — я действовал самостоятельно, против своей воли. Я прошел через ворота и приблизился, так что был на расстоянии вытянутой руки от них. Я почувствовал себя удивительно сильным. У меня создалось впечатление, что я приехал домой. Больше я ничего не понимал.

Потрясен и взволнован я был настолько, что почти потерял самообладание. Я стоял в моей черной зимней униформе около заключенных евреев, и приближаться к ним мне было запрещено. У меня не хватает слов, чтобы описать, что творилось в эти минуты в моей душе.

Вдруг меня пронзила мысль: а если бы среди этих людей находилась моя мать, если бы она меня узнала и закричала: «Шлоймеле, сын мой!» Обнял бы я ее изо всех сил? Нет, подумал я, не ответил бы, сделал бы вид, что мне она чужая. Поступи я иначе, нам обоим это стоило бы жизни. Какой еще гитлерюнге входил в гетто, чтобы поцеловать старую еврейку? За такой поступок карают смертью. А если бы мать меня узнала, подумал я, дал бы я ей незаметно для других понять, что это действительно я? Смогли бы мы ограничиться взглядами и надеждой на новое свидание. Смогли бы мы сдержаться?

Эти мысли занимали меня целиком. Вдруг передо мной появился мужчина в темном пальто. На нем была кепка с белой звездой Давида. По повязке на рукаве я понял, что передо мной еврей-полицейский. Наши взгляды встретились. Он выглядел строгим, но заметным было его удивление. У меня было чувство, что есть в его и моей судьбе что-то общее. Мы безмолвно посмотрели друг на друга. Вдруг я услышал, как кто-то сзади по-немецки, но с акцентом спросил, что я здесь ищу. Рядом со мной стоял охранник, вероятно, фольксдойче. В нацистской иерархии, которая соблюдалась очень строго, я в сравнении с ним занимал более высокое положение. Он приветливо взглянул на меня. На моей повязке со свастикой было вышито: «Бан 468, Нижняя Саксония, Север, Брауншвейг». Это меня избавляло от обязанности показать свое удостоверение. Он вежливо мне сообщил, что я, вероятно, заблудился.

«Ты не знал, что здесь живут одни евреи?» Я пожал плечами. «Вход запрещен. Ты можешь от них заразиться любой болезнью, здесь эпидемия», — пояснил он. Его забота о моем здоровье меня тронула, и я с улыбкой поблагодарил его. Пусть не беспокоится, я последую его совету и удалюсь. Я пришел в себя, собрался с чувствами — и снова Юпп стал хозяином положения. Я ответил

хладнокровно, что нахожусь здесь проездом. Он понял, что мне надо попасть в район по ту сторону гетто, и порекомендовал сесть на трамвай, проезжающий через еврейский квартал.

Я последовал его совету. Возможность пересечь гетто на трамвае мне была по душе. От ворот я прошел на остановку недалеко от входа в гетто. Трамвай, как всегда, когда его с нетерпением ждешь, не подходил. С удивлением я заметил, как спокойно проходит жизнь вокруг жалкого гетто, где сотни женщин, детей и мужчин умирают от голода и болезней. Ни у кого из прохожих я не заметил раздражения по этому поводу или какого-нибудь выражения протеста. Я был поражен тем, что в нескольких метрах от стены гетто царит совершенное безразличие к судьбе его обитателей. Меня и сегодня пугает феномен привыкания к ужасам. Раздвоенность мира, которую я тогда познал, запечатлелась во мне навсегда.

Трамвай дал о себе знать громким грохотом. Вскоре он въехал на улицу, раскачиваясь на повороте. Водитель позвонил, колеса провизжали, и трамвай остановился. Я направился к вагону для немцев, другой предназначался для поляков.

Я не протискивался внутрь вагона, чтобы сесть между другими пассажирами, а стоял перед лобовым стеклом. Я опасался, что при въезде в гетто потеряю самообладание. И если о причине этого пассажиры-арийцы догадаются…

Водитель, за которым я стоял, бросил на меня быстрый взгляд — видимо, почувствовал, что кто-то дышит ему в затылок. Затем отвернулся. На его чистой униформе я увидел эмблему транспортного предприятия города Линцманнштадт (так немцы переименовали Лодзь).

Тяжелые двери ворот распахнулись, трамвай переехал границу гетто и остановился. Приблизился еврей-полицейский, тот самый, который мне встретился раньше, обошел трамвай, специальным ключом запер все двери. Таким образом исключалось проникновение в него евреев из гетто. А немецкому или польскому пассажиру вряд ли пришло бы в голову открыть двери тому, кто попытается таким способом спасти свою жизнь.

После этой процедуры трамвай медленно двинулся дальше. Он повернул на Франциканерштрассе, и я с трудом мог сдержать бушующие во мне чувства. Я еще находился под впечатлением ужасного противоречия между поразительным безразличием там и атмосферой угнетения здесь, стеной, сооруженной озверевшей властью. Мое тело было как парализованное. Едва я различал номера домов. Я искал глазами дом, чтобы издалека его узнать, дом моих родителей. И вот! Передо мной возникла цель поездки. Вот дом, войти в который я так долго мечтал. Я прилип к стеклу.

Не знаю, как стекло выдержало давление моего тела… Остановись, проклятый трамвай!

Постой! Дай мне посмотреть еще одну минуту! Я страстно желал увидеть свою мать. Может быть, материнский инстинкт даст ей знать, что ее сын поблизости, и подведет ее к окну.

Мы поравнялись с домом № 18. За темными окнами ничего не двигалось. Чуда не произошло. Колеса катились дальше. Я тяжело выдохнул. Водитель повернул голову и странно посмотрел на меня.

Я уставился на улицу: не пройдет ли кто-нибудь из родственников или знакомых. По крайней мере, мы бы встретились взглядами! Мои глаза смотрели то на тротуар, то на прохожих, то на дома, то на окна. Люди на улице мне казались ненастоящими. Только после войны я узнал, что во время моего посещения гетто большинство евреев уже находилось в Аушвице. Те, что оставались в гетто, перемещены были туда из окрестностей и дожидались скорой депортации.

Пассажиры-немцы не смотрели в окна трамвая. Они не хотели осознавать творящиеся вокруг злодеяния. Их лица выражали полное душевное спокойствие. Как это возможно? Неужели в них не просыпалась совесть? Теперь они спешат оправдаться: наше сердце полно было скорби от того, что тогда случилось, — но что мы могли сделать? На повороте скорость снизилась. На одном уровне с окнами мне предстала удручающая и потрясшая меня картина — до сих пор не могу от нее отделаться. Четверо мужчин тянули громыхающую телегу, нагруженную трупами, они были накрыты куском материи, когда-то бывшим белой простыней.

Из-под покрывала торчали голые истощенные части их тел. Они были наброшены друг на друга. Это ужасное зрелище разрывало мое сердце. Тележка попала в выбоину на поврежденной дороге. Руки и ноги умерших поднимались, падали, снова поднимались и опускались. Зрелище было ужасным, а их тащили дальше по мостовой.

Так их довозили до могил. А вдруг среди этих трупов находится моя мать! Или мой отец!

О Господи! У Тебя есть объяснение происходящему в этом месте ужасов, где живут верующие в Тебя?

Больше всего мне хотелось броситься на пол трамвая и реветь.

Но трамвай продолжал свое движение, и муки моих братьев по вере остались позади. Мой взгляд был затуманен, предметы поплыли перед глазами.

Мы доехали до выхода из гетто, трамвай остановился.

Неотчетливо я увидел другого полицейского, который снова открыл запертые двери.

На первой после гетто остановке я вышел. Бесцельно бродил по улицам. Я не ходил там, где мог бы встретить человека, к которому мне захотелось бы обратиться. Вид гетто и телега с трупами меня угнетали. Четыре года прошло с того времени, как я покинул своих родителей, но такого чувства безнадежности я еще не испытывал. Есть ли такая сила, что может осуществить мою мечту привести меня в объятия моих родителей? Я приехал не затем, чтобы увидеть и умереть, а чтобы встретить своих родителей и продолжать жить дальше. Выдать себя и тем облегчить нацистам их преступное дело — нет, такого моя мать мне бы не простила; я должен оставаться среди палачей, чтобы исполнить ее наказ: «Ты должен жить!»

У меня было еще десять дней каникул. Я решил использовать их для того, чтобы каждый день ездить через гетто в надежде, что все-таки найду, что искал. Но и опасность я принимал во внимание: следует ограничить число поездок, чтобы не вызвать подозрение у тайной полиции или просто у любопытных. Водитель трамвая, определенно поляк, может удивиться, что какой-то гитлерюнге ведет себя странно, не отходит от двери и постоянно ездит туда-сюда. А тогда не обратится ли он в гестапо?

В такой щепетильной ситуации следует во внимание принимать каждую деталь. Я не знал, как часто ездит трамвай. С тех пор как я вышел, прошло больше двух часов. Я пересек улицу, дождался трамвая в обратном направлении и вошел туда вместе с другими пассажирами. Я чувствовал себя инопланетянином, как одинокая птица, потерявшая своих собратьев. Находиться так близко от любимых людей — и не увидеть их! Не черт ли издевается надо мной?

Когда он подошел, я снова сел в привилегированный вагон. Я заметил того же самого водителя, тот опять странно посмотрел на меня. Опять тот же ритуал с воротами и вагоном. И опять, как тогда, я не имел счастья увидеть своих родителей.

Для моих следующих поездок я приготовил листок с записью по-польски: «Семье Перел, гетто, Лодзь, Франциканерштрассе, № 18. Залек жив. Обратите внимание на проходящие мимо трамваи!» Листок сунул в карман, чтобы при первой же возможности бросить на улицу с надеждой, что какая-нибудь сочувствующая душа его передаст моим родителям. Но сообщение это до адресата не дошло. Сложенная бумага осталась у меня в кармане. Тогда я ее не бросил. Ни в тот день, ни в следующий.

В конце концов я разорвал ее на мелкие кусочки. Этого я себе

до сих пор не простил. Может, испугался, что письмо попадет не в те руки? Но это, конечно, не утешение.

Таким образом я провел остальные дни. Спал на вокзале, сидя на скамейке возле стола, утренним туалетом занимался в общественном клозете, завтракал в буфете вокзала, потом ехал в гетто. Почти каждый раз я встречал того же самого молчаливого водителя. Пытался не привлекать к себе его внимания, но мне было ясно, что веду себя неадекватно, а каждая моя поездка регистрируется.

Времени между поездками туда и обратно было достаточно, я его проводил на знакомых улицах Лодзи. Было у меня намерение, как и во время визита в Пайне, посетить места моего детства. Каждый день часами я бродил по этому большому городу, не встретив никого, с кем мог бы перекинуться сердечным словом.

Мне пришла в голову мысль увидеться с моим бывшим классным руководителем, поляком, господином Климецким.

Я нуждался в утешении — все равно, от кого. Я надеялся, что найду у него понимание и поддержку. Этой авантюрной идеи не суждено было осуществиться. Перед войной я часто к нему заходил в качестве председателя LOPP[27], в которой и он принимал активное участие. Он жил на аллее 3 Мая, названной в честь праздника польской Конституции. Без труда я нашел дом и поднялся на второй этаж, прежде, чем остановился у его двери. Через узкое окошечко на лестнице я мог видеть его кухню. Он обедал вместе с женой. Я медлил. Не позвонить ли? Вдруг внутренний голос сказал: «Стоп! Не делай этого! Иди, откуда пришел!» И верно, даже учитель, которому прежде я доверял, мог быть для меня очень опасен.

При военном оккупационном режиме многие приноравливаются, некоторые становятся доносчиками.

Отрезвленный, я быстро покинул это место.

Через многие годы после войны я встретил одноклассников из Лодзи и рассказал им о моем тогдашнем намерении посетить учителя Климецкого — хотел увериться, что мое опасение было не напрасным. От них я узнал, что очень быстро он стал вдохновенным коллаборационистом. Я направился к улице Законтна, дом 17, где мы жили до трагической разлуки и изгнания моих близких за стену гетто. В то время как я приближался к дому, на меня нахлынули воспоминания. Здесь я впервые договаривался о свидании с девушками. Теперь все казалось чужим и холодным. Печально я смотрел на стены домов и знакомые камни мостовой, которые были немыми свидетелями того, что я пережил. На приветствия неожиданного гостя они не

отвечали.

Я подошел к двери углового трехэтажного здания, где прежде был мой дом. Вошел внутрь. В этот самый момент в проеме двери появилась хорошо знакомая фигура портье. Он не изменился, и на нем была все та же старая фуражка. Однажды я помог ему помыть водяным шлангом тротуар и двор. Когда вода струилась, я с удовольствием нажимал на резиновый конец, чтобы она брызгала во все стороны. Долю секунды я думал: не посвятить ли его в мою тайну? Но тотчас же отбросил эту глупую идею, осторожно посмотрел на него и уверенно пошел к лестнице. На первом этаже задержался перед нашей старой дверью. Я услышал оживленный разговор. У дверного звонка было обозначено чужое имя. На правом косяке двери остался только след от мезузы.

Какое дорогое, знакомое место! Мы были счастливой семьей. Вечером мы собирались, и дом наполнялся шумом и радостной беготней. Мой младший брат Давид был шутник, и от его выходок мы помирали со смеху. С особым удовольствием он нас разыгрывал за столом. Если мама ему наливала мало супу, он совал палец в тарелку сестры Берты, и она, конечно, больше не ела. Мама немного ругалась, а потом смеялась вместе с нами.

Исаак был самым среди нас серьезным и суровым. Более всего ему свойственны были усердие и любовь к порядку. Он тщательно следил за моими ученическими успехами и никогда не забывал проверять, сделал ли я все задания. Когда мы жили еще в Пайне, а позже в Лодзи, он посылал меня гулять и потом требовал детального отчета о моих впечатлениях.

Вспомнил я и сестру Берту, красивую, хорошо сложенную молодую девушку. Она учила меня танцевать медленный фокстрот и танго под музыку из радио. Потом пришли другие ритмы. По радио мы слушали иностранные передачи. Каждый раз, когда местная газета сообщала, что будет передаваться речь Гитлера, у нас дома царило страшное напряжение. Гитлер прекрасно знал, как завести народ. У нас это вызывало панический ужас. С театральным пафосом он предсказывал лишения, нужду, опустошение, если немецкий народ не проснется и не выступит против Версальского договора. До сих пор у меня в ушах его крик: «Если международному финансовому еврейству еще раз удастся наш народ втянуть в мировую войну, чтобы еще больше извлекать выгоды, за этим последует истребление еврейской расы!» Как же быстро это стало осуществляться! Даже в самом ужасном сне я не мог себе представить, что буду ему присягать и числиться среди его приверженцев.

Не знаю, как долго я так стоял.

Вдруг за дверью я услышал шаги. В момент я покинул лестницу и вышел на улицу. По дороге я заглянул на задний двор Аарона Горецкого, где мы играли в настольный теннис. Конечно, стола уже не было. Что-то во мне сопротивлялось признать, что мир, который казался таким прочным, в один момент можно стереть, не оставив в живых ни одного из его свидетелей. Бесцельно я слонялся по улицам.

Меня магически тянуло к кварталу, где находилась улица Законтна. В часы между поездками через гетто я теперь ходил туда гулять. Во мне еще не стерлись шокирующие картины гетто, а контраст с ними безмятежности по эту сторону стены разрывал мне сердце.

Погруженный в свои мысли и воспоминания, я не сразу заметил прелестную молодую девушку рядом со мной. С соблазнительной улыбкой она удивленно посмотрела на мою черную униформу. У меня на уме было совсем иное, нежели светские радости или романтические встречи, и все-таки я к ней повернулся и спросил, чем вызвано ее любопытство. «Вы действительно член гитлерюгенда из рейха?» — спросила она немного смущенно. «Да, в Брауншвейге, я из Северной Нижней Саксонии», ответил я с немецкой гордостью.

Она говорила по-немецки со славянским акцентом. Очевидно, передо мной тоже фольксдойче. Я обрадовался тому, что со мной заговорили, и пригласил ее погулять. Она согласилась, и мы пошли дальше в том же направлении. Да, моя партнерша была под впечатлением от такой встречи, а я как бы забыл о наполненном болью себе — настоящем. Моя новая подруга смотрела на меня с нескрываемым удивлением. Она рассказала, что со своими родителями приехала из Украины в порядке проведения переселенческой политики.

Ее отец служит где-то на востоке, а она с матерью и сестрой живет в новой квартире, которую дали им бесплатно. По ее словам, она еще никогда не была в рейхе, и это ее страстная мечта. Она уже встречала солдат вермахта, но такого, как я, гитлерюнге, еще нет.

Молодые немцы почитали гитлерюгенд и надеялись, что это движение скоро будет организовано и в Лодзи. Ее восторг был искренним, и мне доставляло удовольствие с ней разговаривать. Меня трогало, что именно меня судьба выбрала представлять элиту, в которую я входил против своей воли. Чтобы ее не разочаровывать и соответствовать роли представителя рейха, я притворно выражал такой же восторг.

Я радовался тому, что встретил, хотя и необычным образом, молодую душу и что между нами завязываются отношения. Это был маленький цветущий оазис посреди окружавшей меня пустоты, маленький праздник посреди драмы, в те дни разыгравшейся перед моими глазами. Как-то он вытеснял жуткие впечатления, грозившие убить во мне всякую надежду.

Весело, с налетом флирта мы продолжали беседу. Мне была необходима радость, быть может, затем, чтобы моей душе не томиться иными чувствами, чтобы компенсировать постоянно меня преследующий страх. Трагические события и вид смерти в эти каникулы не умалили во мне воли к жизни. Так ли уж это необычно?

С наступлением ночи я попрощался с девушкой и поспешил в мой «народный отель», мой «приют на все четыре стороны», на вокзал Лодзь-Калиская. Мы договорились встретиться на следующий день, чему я был очень рад.

Мне так и не выпало счастья увидеть своих родителей. Юпп же, в противоположность безутешному, тонущему в своих страданиях Салли, имел потрясающий успех.

Так прошел день, когда я на трамвае проехал через гетто. На следующий я направился к назначенному пункту встречи. Девушка была уже на месте. Она не скрывала радости снова меня видеть. Мы опять совершили долгую прогулку до окраины города.

В какой-то момент наши руки соединились. Я почувствовал, как кровь течет быстрее и я снова оживаю. Руки, касающиеся друг друга, означать могут разное, но символом являются многому. Это прикосновение глубоко в меня проникло и стало незабываемым.

Мы продолжали болтать о предыдущем дне. Юношеский восторг у молодых людей быстро переходит в сердечные отношения. Исходившая от девушки волна меня растрогала, хотя я сознавал, что обязан этим недоразумению. Разве ее не научили ненавидеть того, кем я был на самом деле? И все-таки ее чувства убавляли мое горе.

На обратном пути меня ждал сюрприз. Преодолев легкий страх, девушка меня пригласила справить завтрашнюю новогоднюю ночь у нее дома. Сначала я ответил уклончиво — на душе у меня было не так хорошо, чтобы праздновать. Но отказываться тоже не хотелось. В конце концов я принял приглашение — оно ведь шло от сердца. Я спросил адрес. Каково же было мое изумление, когда в ответ услышал: «Я живу недалеко от того места, где впервые с тобой заговорила, в большом угловом доме № 17 на улице Законтна». О Всемогущий! Происки судьбы не останавливаются ни перед чем! Быть приглашенным в дом, где прошло твое счастливое, но разрушенное детство! Есть, пить и танцевать там, где каждая кафельная плитка мне напомнит о смехе Давида, о любви Исаака, уроках танго Берты и, прежде всего, о моих любимых родителях! От себя я не скрывал, что это вопреки здравому смыслу. Но решающим оказалось желание побывать в семье и свою горечь отодвинуть на задний план.

Я еще не знал, на каком это будет этаже и в какой квартире. Мысль о том, что речь идет о нашей конфискованной квартире, сводила меня с ума. Меня снова толкали в мое прошлое, а я этого боялся. Не буду ли я в роли гостя возвращаться к моим воспоминаниям?

Не зная этого, девушка проложила мостик между мной и моим прошлым. Она не представляла, что ее приглашение значит для меня. Если бы я от него отказался, не мог бы себе того простить. Чем оно станет, это необычное путешествие в прошлое — праздником или скорбью?

Может, то будет встреча Юппа и Салли во всех ее противоречиях? Быть может, радость и печаль столкнутся в этом доме и я освобожусь от воспоминаний?

«На каком этаже ты живешь?» — спросил я. «На втором, правая дверь, и не забудь прийти!» Мысли в моей голове кружились кувырком, и я с трудом ее понял. Итак, праздник

состоится не в нашей квартире, а этажом выше. Я был разочарован. Не потрогать мне наши стены, наверняка сохранившие запахи маминой стряпни! Меня пригласили в квартиру наших бывших соседей, сын которых ходил со мной в один класс. Мы вместе делали уроки. Теперь они все находились или в гетто или в Аушвице[28], а мне в их доме предстояло праздновать среди людей, которые недавно были заселены в квартиру убийцами тех, кто прежде там жил. Протест во мне нарастал и готов был вырваться наружу.

Я попытался сохранять спокойствие и смотреть на девушку как на ничего не подозревающую партнершу в этой безумной ситуации.

На следующий день я бродил по улицам, встречал кучу прохожих, которые торопились сделать последние приготовления к этому важному празднику. Я смотрел на них, как бы говоря: сегодня вечером я не буду сидеть скрючившись на этом проклятом вокзале. Это мне позволяло не так сильно чувствовать одиночество. В последние годы я стал упрямым, не так просто было испортить мне настроение.

Вечером, одетый с иголочки, я отправился на прием. Я не хотел знать, какие будут другие гости, предполагал, что родственники или знакомые. Одним из них был солдат вермахта, часть которого располагалась поблизости. Оба мы числились единственными полноценными немцами и почетными гостями. Я был полон гордости и чувства собственного достоинства.

Солдат и я говорили на одном языке. Я скрыл, что сам старый фронтовик и фольксдойче. Меня ему представили как настоящего немца родом из Брауншвейга, и таким я хотел и впредь остаться в его глазах. Он извергал смачные проклятия русским, жаловался на их варварства: они, дескать, применяют дурацкие пули и таким образом не выполняют Женевский договор. Эти пули проникали внутрь тела, разрывались там и вызывали ужасные ранения. Одна и ему попала в бедро, и только через много месяцев он выздоровел. Поэтому в настоящий момент находился в тылу, в зенитной части.

Несмотря на царящую повсюду нехватку продовольствия, на столе было много разных блюд и алкоголя: самогона и вина, тоже домашнего. С приближением полночи настроение поднялось. У хозяев были старый граммофон и пластинки.

«Свою» девушку я пригласил на танец. Все пели, танцевали, смеялись до слез. Я тоже.

Но все еще плакал от скорби. Моя Берта научила меня танцевать танго. Я закрыл глаза, прижал партнершу к себе и предался воспоминаниям. Это она восприняла как признак

симпатии, тогда как я запутался в сетях мучивших меня воспоминаний. Благодаря этой девушке мне удалось забыть о своем действительном «я» и наслаждаться флиртом.

Вдруг наш танец был прерван. Оставались считанные минуты до ударов колокола, ожидаемых с нетерпением. Мы взяли друг друга за руки и совершили, празднично ликуя, почетный круг за победу и за фюрера. Я был вместе со всеми, но победы я желал совсем другой. Хорошо, что мысли и чувства не видны. Своих желаний я не выдал. Торжество продолжалось.

Мог ли я предположить, что в доме, покинутом четыре года назад, я появлюсь снова и затем, чтобы танцевать в хороводе? Я «развлекался» в квартире своих друзей и соседей, в то время как они мучились в гетто! Мебель, оставшаяся от них, безмолвно смотрела на меня.

Мое время в Лодзи подходило к концу. С противоречивыми чувствами я покидал это судьбоносное место. Повинуясь требованиям настоящего времени, я продолжал жить как обычно.

Мои поездки через гетто приносили только новые разочарования.

Я потерял всякую надежд и был безутешен. Свою подругу я видел еще один-два раза, потом мы простились. Мысленно я попрощался и со странным водителем трамвая, с которым не обменялся ни единым словом, хотя вызывал у него удивление своими нервозными поездками туда-сюда.

В Израиле на одной встрече евреев из лодзинского гетто я увидел бодрого старца. Он сказал мне, что живет в Швеции, но два раза в год приезжает сюда в свой дом на Синае. Зовут его Биним Копельманн. В день Памяти жертв Холокоста[29] мы разговорились. Он стал рассказывать о своих скитаниях, начиная с гетто в Лодзи до прибытия в Аушвиц в самом конце войны. Он говорил беспрерывно, страстно и на мои вопросы не обращал внимания. Мне не удавалось его прервать. Ошарашило меня, когда он сказал, что был водителем трамвая. «Как это было возможно? — спросил я. — Еврею разве дозволялось находиться вне гетто?» По его словам, он был единственным, кому дали на это право. В юности он работал на заводе электроприборов AEG в Берлине, и когда его дисквалифицировали, немецкие власти выписали ему разрешение на вождение трамвая.

Воспользовавшись паузой в его речи, я заметил, что тоже проезжал гетто на трамвае, скрываясь под униформой гитлерюгенда. Мужчина испугался и замолчал. Он удивленно наморщил лоб. Я почувствовал, что мыслями он возвращается в

прошлое и роется в своей памяти. Он пристально посмотрел на меня и невнятно пробормотал:

— Это были вы? Это вы были тем гитлерюнге, который каждый день стоял в трамвае позади меня? Да, я был водителем. Я боялся вас и не решался попросить у вас объяснения. Мне это казалось странным и необычным. Но я никогда бы не подумал, что вы еврей.

— А я думал, что вы поляк, что вы за мной следите, так что нельзя вам доверять.

У обоих на лицах выступил пот, и я ему рассказал свою историю.

После десяти каникулярных дней я приехал в школу разочарованным. В школьную газету на этот раз не заглянул, мне было все равно. Я был потрясен, больше не понимал, на чьей я стороне, где я и что меня ждет, где мой дом, моя родина и кто я есть на самом деле. Все варианты сливались друг с другом, мысли путались.

Не так давно одна школьница спросила меня, почему я все-таки не попробовал проникнуть в гетто и разделить судьбу моих родителей. Я ответил, что невозможно предусмотреть, где остановится карусель смерти, непрерывно кружившаяся над нашими головами. Я чувствовал, что надо было следовать за сигналами, исходящими изнутри.

По прибытии в школу я заметил, что ничего не изменилось. Небо не упало на голову, а жизнь продолжается. Шел пятый год войны, и все твердо верили в победу.

Была веселая встреча с товарищами, они рассказывали впечатляющие истории. Я тоже рассказал то, что было можно. На этот раз мне надо было очень напрячься, чтобы сочинить фиктивные приключения. Пропасть между реальностью и фантазией была очень глубокая…

Строгая школьная дисциплина и привычное окружение делали свое дело, и я снова был в курсе всех дел.

На занятии нам и дальше восхваляли славное изменение мира, которое мы намеревались проводить. Даже сооружение памятника с доской, где были записаны имена погибших на фронте выпускников интерната, не повлияло на состояние их духа. Не волновало их и то, что Муссолини свергнут своими противниками, а Италия больше не желает быть нашим союзником. Им заявляли, что союзник она неверный и пора уже от него избавиться. Им верилось, что мы одни «с мечом достичь победы сможем…» Даже покушение на Гитлера не поколебало их

пылкого усердия и их уверенности.

Через несколько дней по всей Германии на экранах кинотеатров появились фотографии раненого Гитлера в окружении своих подданных, готовых идти вместе с ним по этому сумасшедшему пути. Ангел смерти все более свирепел…

Нас созвали на собрание, дабы должным образом рассказать о произошедших событиях. Банфюрер возмущался бандами предателей: им, заявил он, не уйди от справедливого наказания. Он настойчиво требовал от нас сохранять верность национал-социализму, а мы клялись с вытянутой рукой и пели национальный гимн. Нам показали фрагменты фильма, снятого во дворе народного суда. Мы видели заговорщиков, видели, как их допрашивают и судят. Вспоминаю одну сцену. Генерал-полковник фон Вицлебен, стоя перед своими судьями, поддерживает брюки, так как у него отобрали ремень, и они свалились, обнажив подштанники, когда председатель отдал приказ стоять навытяжку. Публика в зале находила это веселым и смеялась. Некоторые обвиняемые были подвешены на мясные крюки — как свиньи после забоя.

Жизнь проходила в обычном ритме. Однажды в конце июля 1944 года я был командирован в административное здание школы. Там мне сообщили, что на меня пришел вызов: я должен предъявить некоторые документы в брауншвейгском президиуме полиции.

Тут же я насторожился. Я не знал, о чем идет речь, но знал, что каждый официальный расспрос может мое и без того щекотливое положение сделать еще более опасным. Ночью я много раз просыпался и терялся в догадках, одна ужаснее другой.

На следующий день после занятий со своими немногочисленными документами я отправился на ожидаемое распятие. Я надеялся, что они, обнаружив мое еврейское происхождение, меня пожалеют и уничтожат не сразу. Еще утешал себя мыслью, что меня, возможно, доставят в Лодзь, где я смогу увидеть своих родителей. Даже пребывание в гетто вместе с другими евреями мне казалось лучше моего постоянного одиночества.

В здание полиции я вошел неуверенно; я уже смирился с возможным изменением в моей жизни. На минуту я остановился, чтобы внутренне подготовиться и держать выправку. Затем постучал в дверь с надписью «Министерство внутренних дел. Отделение гражданства Германии». Из кабинета я услышал: «Входите!» Вошел я прямо, храбро, готовым к бою. Напротив меня сидел чиновник в штатском со значком партии. Как всегда,

произнес: «Хайль Гитлер!» Он ответил коротким приветствием и предложил мне сесть. Подчеркнуто вежливо я ему протянул повестку. С долгим «хм-м» он стал листать лежащие перед ним документы. Мне удалось не выдать себя ни одним мускулом, чтобы он не заметил мое беспокойство — сказались поддержка свыше и моя упорная работа над собой.

Ожидание напрягло мои нервы, однако чиновник читал бумаги в полном спокойствии и не говорил ни слова. Вдруг он поднял голову и спросил: «Откуда происходит фамилия Перьел?» «Из Литвы», — ответил я без колебаний. Я вспомнил об экспертах по части имен, которых встретил на фронте в Минске. «Да, действительно. Ты, пожалуй, прав, — сказал он обнадеживающе. — Где твое немецкое свидетельство? В комплекте наших документов его недостает».

Я с гордостью достал справку об утере моих бумаг и протянул ему. Он кивнул. «Да, хорошо, эта справка заслуживает доверия. Но для комплекта нам нужна какая-нибудь официальная. Ты должен незамедлительно обратиться в твой родной город Гродно и потребовать выписку из твоего свидетельства о национальности. В противном случае мы должны будем прибегнуть к обычным мерам», — сказал он и холодно улыбнулся. «Конечно, я уже сегодня напишу письмо в Гродно, как вы требуете», — ответил я и попытался быстро сообразить, какое можно было бы предложить другое решение.

В то время как фронт уже рушился и продолжалось победоносное освобождение Франции, эти немцы заботятся о том, чтобы чужеродные элементы не просочились в элитный народ. Мы обменялись еще несколькими любезностями и простились обычным «хайль». Я сбежал вниз по ступеням. Мне нужен был свежий воздух. Я глубоко вздохнул и почувствовал себя лучше. Потом остановился в растерянности. Само собой, я не буду писать в Гродно просто потому, что никакой немец по имени Йозеф Перьел там не рождался. Я удивлялся тому, что чиновнику не пришло в голову самому туда написать. У меня в запасе был еще месяц, и можно будет найти какое-нибудь другое решение, это меня утешало.

У меня было чувство свободы, но свободы приговоренного к смерти в камере без решеток и дверного замка. В школе моей озабоченности не заметили. Я решил в следующее воскресенье нанести визит семье Лач, чтобы поговорить о надвигающихся тучах и получить совет.

Но до этого не дошло. Мой ангел-хранитель опять меня спас. В ночь после моего прибытия с повесткой впервые бомбардировали Брауншвейг. До этого самолеты союзников над

нами летали, не сбрасывая ни одной бомбы. Обычно атаке подвергался Берлин. Поэтому местная воздушная оборона была не особенно бдительной. Кроме того, убедительные слухи среди населения усиливали веру в то, что город пощадят. Рассказывали, что дом Брауншвейгов имеет родство с британской королевской семьей, и поэтому она заинтересована сохранить его невредимым. Этот слух настойчиво держался до той ночи, когда десяток осветительных ракет, так называемых елок, осветили небо как днем и дождь из бомб превратил город в кучу мусора. Брауншвейг горел. Взрывы нас ошеломили и породили общую панику, большую, чем тогда в Гродно. Какая переменчивая судьба! Еще раз я подвергся массированной воздушной атаке, но на этот раз она задела меня отчасти. Крики ужасов и противоречивые приказы раздавались и тонули в шуме бомб с самолетов Б-25.

Здание «Отдела гражданства Германии», где ждали подтверждения моих документов, тоже превратилось в руины, так что искать документы бесполезно. Все было объято пламенем. Я послал благодарность небу за анонимного пилота, который целился так точно, прежде чем сбросить бомбу.

Я сказал себе: ну вот, Шлоймеле, теперь они не будут тебе досаждать вопросами насчет твоего происхождения. После отбоя нас призвали на развалины. У нас уже была тренировка, так как в соседнем городе Ганновере, который часто подвергался бомбардировкам, мы принимали участие в таких акциях. Не колеблясь я вышел с моими товарищами на улицу и там исполнил свой долг. В основном мы делали бутерброды и кофе и то и другое раздавали на углах улиц.

А если речь шла о спасении людей, я напрягал все мои силы и все свое мужество. Так меня воспитали мои родители. Человек для меня оставался человеком, независимо от его происхождения. К тому же это не требовало конфликта с совестью. Каждый раненый, откопанный из-под завалов, имел право на мою помощь. Я не думал ни о его предыдущем поведении, ни о том, что он мог бы мне причинить, если бы узнал, кто я. При этом я полностью был Юппом. Я хватался за спасательную работу так, как это делали все вокруг.

За три года в национал-социалистической школе я беспрерывно старался, числился хорошим учеником по всем предметам, и мне это удавалось без труда. Огромная сила толкала меня. Я с головой ушел в учебу. С другой стороны, я знал, как держаться подальше от того, что могло бы меня удручить или эмоционально потрясти. Должен признать, что иногда забывал свое прошлое.

Моя жизнь была как маятник: то фальшивой у всех на виду то, напротив, настоящей, глубоко укорененной, но скрытой.

В зону Юппа этот «маятник» заходил с большей «амплитудой» — промывка мозгов не давала ему далеко уходить в зону Соломона.

Моя двойная жизнь меня самого приводила в замешательство, и часто я не мог определить, в какой роли нахожусь. Так, я был в восторге от победы «нашего Отечества, нашей великой Германии». Не сдерживаясь перед товарищами, выражал радость, если сообщали о впечатляющих героических поступках. Информация о победах жадно воспринималась нами. Если речь шла о большом успехе, все ликовали и обнимались. Это переполнявшее всех счастье меня тоже не оставляло равнодушным. Я сиял вместе с ними от того, что вот еще один шаг нас приближает к «окончательной победе». Я не давал ходу ни одной мысли о моем будущем после «окончательного поражения» и не впадал во внутренний конфликт. Таково было относительно надежное средство выжить.

Часто объявлялась воздушная тревога № 15 — это значило, что вражеские самолеты находятся в пятнадцати минутах от Брауншвейга. Согласно предписанию, мы должны были немедленно прервать наши занятия и бежать в бомбоубежище. Со временем мы привыкли к бомбовым атакам, тем более что много раз самолеты над нами пролетали, не бомбардируя. Бдительность пропадала. Некоторые «смельчаки» просто игнорировали опасность и оставались в своих квартирах. Но что должно было случиться, то случилось. В одно прекрасное солнечное утро радио неоднократно сообщило о воздушной опасности № 15. И в тот раз сброшенные бомбы попали в наше общежитие. Все как сумасшедшие побежали в бомбоубежище.

Во время такого поспешного бегства погиб один из моих лучших друзей Бьерн Фолвик, состоявший в какой-то молодежной организации выходцев из Норвегии. Мне-то времени хватило убежать в укрытие, и я очень скорблю о смерти моего товарища. Я взял лист бумаги и с ходу сочинил стихи в память моего умершего друга. Начинались они так:

И вот лежит он на траве лицом наверх,
Как будто бы хочет сказать:
«За святое отечество наше
Вперед, друзья-товарищи!»

Я вел себя и говорил как другие, телом и душой я был членом этой группы. Под мое тогдашнее поведение и сегодня я не могу

подвести какую-то логику — таким вот оно было, и все тут.

Однажды обе мои половины столкнулись друг с другом, что меня вывело из равновесия. Случилось это на уроке расизма. Учитель меня вызвал и попросил обосновать необходимость уничтожения еврейской расы. Вне себя от злости я шел к доске. Не кому иному, как мне следовало сделать отличный доклад по этой теме! Только сам Сатана мог придумать такое испытание. Ярость и отвращение бушевали во мне, я собрал все свои силы… Числился ведь я одним из лучших — потому и требовали от меня многого. Я был в жутком смущении, но знал, что во время ответа должен держать себя в руках. Мое прошлое и настоящее столкнулись в моей душе со всей силой. И откуда-то пришли ко мне силы сдержать этот конфликт.

У меня был, как я понимаю, большой запас инстинкта самосохранения. Преодолев муки совести, я ответил как положено. Ревевшая внутри меня буря не выплеснулась наружу. Мой ответ учителя, похоже, удовлетворил и, вероятно, оценен был на «отлично».

Несмотря на ухудшающееся день ото дня положение на фронте, настроение у населения не падало. Оно даже поднялось благодаря ободряющим слухам. Болтали, будто решающим в конце войны станет секретное оружие. Шептали, что за пять минут до двенадцати фюрер якобы подымет палец и это будет сигналом сбросить на поле битвы оружие небывалой в военной истории разрушительной силы. После войны я узнал, что нацистская Германия скрупулезно работала над атомной бомбой и была уже близка к ее производству.

В школе царило безразличие, несмотря на изменившееся положение на фронте. 6 июня 1944 года высадкой союзников в Нормандии открылся Второй фронт. Одновременно великий русский прорыв привел к решающим победам. Советская армия освободила области, занятые нацистами, прошла через польскую границу и нанесла вермахту тяжелые потери.

Исход войны фактически был решен. А мы в школе все еще предавались нашим мечтам о будущем величии Германии. И меня перемены не затронули. Я глубоко втянулся в навязанный мне мир. Сознание у меня затуманено было так, что реальность туда не проникала. Я чувствовал себя «одним из них», всецело одобрявших авантюрные и опасные мероприятия рейха в дни его последних усилий, и больше не заботился о моей судьбе после поражения вермахта. Когда рейх уже находился в смертельных судорогах, наряду со многими я участвовал в отчаянных попытках его спасти.

Мы примкнули к «народному фронту», к «спонтанно»

созданному отряду из детей, женщин, стариков… ко всем тем, кто еще мог держать оружие, чтобы защищать границы Отечества от надвигающегося врага.

В начале 1945 года в лесах около Брауншвейга нас обучали новому противотанковому оружию, фаустпатрону. Наконец мы получили в руки оружие. Мои товарищи уже считались старыми вояками… Оружие было простым и действенным, но держать его в руках было опасно. Нажимали на спуск, фаустпатрон выстреливал, выпуская сзади длинное пламя. Многие мои товарищи от того получили тяжелые ожоги.

Нас послали на Западный фронт. Учитывая мой опыт, меня назначили командиром взвода. Мы охраняли мосты на улицах и должны были поддерживать вермахт в подрыве вражеских танков. Газеты печатали фотографии: Гитлер награждает медалью за отвагу гитлерюнге, сражавшихся в народных дружинах. По пути к фронту нам встретилась большая колонна танков, которые двигались в обратном направлении. Тогда я впервые услышал ехидное замечание некоторых «братьев по оружию»: «Они едут домой. Для них-то война закончилась».

Но почему я при новом ветре не вылез из моей оболочки? Не знаю, что мне тогда препятствовало встать и броситься бежать. Фронт находился довольно далеко, но шум боев был отчетливо слышен. Час истины пробил.

С одной стороны, я намеревался бросить хотя бы одну гранату во «вражеский» танк, хотя осознавал, что мой враг не там.

С другой стороны, с прорывающими «нашу» оборону хотел встретиться лицом к лицу, чтобы дать им понять, что рад их приходу. Глубоко изнутри поднималась моя долго дремавшая надежда, она еще слабо светилась, но была уже достаточно сильной, чтобы постепенно рассеять туман последних лет, тот самый туман, что окутывал и так надежно прятал мое настоящее естество.

Прозрение пришло не сразу. Постоянное напряжение борьбы за жизнь не исчезло одним махом, оно продолжалось, но постепенно спадало. Я не мог так просто сбросить шкуру врага, которая стала едва ли не моей собственной.

21 апреля 1945 года мне исполнилось двадцать лет. Один из товарищей, лежащий со мной на позиции, поздравил меня с днем рождения. Шесть лет прошло с того момента, как я вступил в эту бурную жизнь, четыре из них я был другим, когда мне приходилось скрывать свое истинное «я».

За день до того был день рождения фюрера. Мы слушали годами повторяющуюся речь Йозефа Геббельса к немецкому

народу. Я хорошо помню его последние фразы. Явно изменившимся голосом он заявил: «Если мы, немцы, проиграем войну, богиню справедливости и проститутку денег, — тогда мы больше не достойны жить в этом мире».

В ту самую ночь между днем рождения фюрера и моим двадцатилетием произошли великие вещи. Объявили о конце войны!

Занавес закрылся. Я сыграл роль, какую судьба предоставила мне сыграть на сцене моей жизни. Другой занавес поднимался. Конец самоотречению молодого еврея Соломона, сына Исраэля.

Ко дню рождения получил я самый прекрасный подарок из тех, что мог себе представить!

В ту решающую ночь я был разбужен криками на иностранном языке и болезненными ударами прикладом. Тяжелые веки с трудом могли повиноваться жестокому требованию. Я не заметил, что это пробуждение после долгой ночи, в которую погружена была моя душа, и что глаза я открывал свету свободы.

Американская армия штурмом захватила наш лагерь, не встретив ни малейшего сопротивления. Нам приказали встать к стенке. Все оружие и всю амуницию, что была у нас, конфисковали и выбросили на улицу в большую кучу. Я видел, как мой фотоаппарат был изъят из моего мешка и перешел в руки американского солдата. Я не осмелился протестовать и вообще не показывал никакой реакции.

«Наци, к стенке!» — кричали они, пока последний из нас не встал в строй, скрестив руки над головой. Я встал вместе со всеми спиной к стене и смотрел навстречу новой, неизвестной реальности. Это было как наваждение. Рядом со мной я услышал шепот: надо бы их расстрелять. Опьяненные победой солдаты, в чьей памяти еще сохранился ужас войны, вполне могли удовлетворить свою жажду мести.

Таким образом опять, как и четыре года назад на поле под Минском, я увидел себя с точки зрения «вражеского» солдата.

Но почему тогда перед немецким постовым мне хватило находчивости заявить: «Я немец» — а теперь я как парализованный и не способен крикнуть: «Не стреляйте! Я не с ними, я еврей, это правда!»? Я стоял и не произнес ни звука.

Слишком толстая наросла на мне гитлеровская оболочка, чтобы мне запросто было из нее выйти.

«Что за издевка, — думал я, — в день моего рождения быть застреленным освободителями, и это в тот момент, когда уже пробили колокола свободы! Мой жизненный путь будет навсегда

предан забвению». Я хотел закричать, но побоялся. Слова просто не выходили из меня — в таком я был шоке.

Слава Богу, расстреливать нас не собирались. Американские солдаты не стали нам мстить. Они видели в нас детей, которых ввели в заблуждение, и хотели только нас попугать.

Целый час мы стояли перед угрожающими стволами ружей, пока не закончились обыск и конфискация. Большинство солдат ушло. Маленькая группа осталась нас охранять.

Нам приказали снять как запрещенные все нацистские эмблемы. Я быстро сбросил спортивные значки, которых у меня была целая куча, и портупею гитлерюгенда. Все это закинул подальше. Кто я теперь? Я парил над чем-то призрачным, не было твердой почвы под ногами, не было дома, куда мог бы вернуться. Моя настоящая сущность была под вопросом, я даже забыл, как выгляжу. А пока оно так, свободы не обрести.

На следующий день мы были освобождены из этого короткого плена. Мы разлетелись кто куда, каждый пошел своей дорогой, кто-то присоединился к бесчисленным беженцам, которые надеялись найти свои разогнанные семьи. Никому еще я не сказал, что я еврей. Я намеревался добраться до Брауншвейга, зайти в мою школу и оттуда забрать свои вещи. Темные годы маскировки закончились, и я должен привыкать к свету нового мира.

В полном замешательстве я входил в мою новую жизнь. Купил себе велосипед и преодолевал расстояния на автострадах. Всюду суматошное перемещение: кто на движущихся средствах всех марок, включая тележки и велосипеды, кто на своих двоих. Тысячи беженцев бродили в поисках своей дороги, среди них побежденные и подавленные солдаты вермахта и союзники, победители.

А я с чего должен начинать? Каким должно быть мое будущее и как оно свяжется с прошлым? Восстановится ли разрушенная основа моего существования? Можно ли на шатком фундаменте построить новую жизнь? Конечно, с моим вторым «я» сведены счеты. Но настоящее «я» пока не обретено. Я ехал в сторону неизвестности. Что-то было позади, а из нового еще ничего не было.

На одной из обочин я устроился перекусить. Из своего мешка достал припасенное продовольствие, которое мне выдали еще на фронте. Во время еды я рассматривал немцев, тянущихся в разных направлениях. Наблюдал за пленными, которых под пристальной охраной отправляли в пункты сбора и распределения. Лист перевернулся. Гордым «господам» с

неограниченной прежде властью со вчерашнего дня пришел конец.

Подъезжая к Брауншвейгу, я узнал, что город сдался и жители на окнах вывесили белые флаги. С новой силой я жал на педали и в побежденный город приехал уставшим и выдохшимся. На зданиях действительно развевались белые флаги, а на стенах были наклеены огромные плакаты: американские оккупационные власти ясно и недвусмысленно заявляли, что каждый, у кого остались оружие или нацистские знаки и кто не соблюдает комендантского часа, будет расстрелян.

Я поспешил в мою бывшую школу, так как комендантский час приближался.

У изгороди вокруг интерната я увидел большое количество людей. Как я понял, то были рабочие, доставленные с востока для работы на заводе «Фольксваген» и теперь освобожденные. Они вышли из своих крошечных бараков, обнесенных проволокой, и заняли наши просторные комнаты. Теперь я не мог туда пойти, чтобы забрать свои вещи. Никакого выбора у меня не было, и я решил направиться в бывший лагерь подневольных рабочих. Это было недалеко, и мне удалось за несколько минут до начала комендантского часа проникнуть через проволоку и исчезнуть в одном из бараков. Там я упал на нары. Я был один на территории, один со своим прошлым.

Я почувствовал, что никакая рука меня больше не охраняет. Одиночество было совсем другого рода, и переносить его было тоже нелегко. Я покинул побежденных, но не примкнул к победителям. Я чувствовал, что во мне тает что-то важное и просачивается капля за каплей. Мое обостренное сознание, моя способность тотчас находить на все ответ, моя сильная воля больше не существовали. Они свою функцию выполнили. А при этом я чувствовал, что теперь они мне нужны больше, чем прежде.

Наступили сумерки, я поел кое-что из моего железного запаса и тотчас заснул, свернувшись калачиком. Мой глубокий сон был побегом, релаксацией, средством отодвинуть будущее. Мне нужно было время для выздоровления.

Грустно и против воли покинул я тогда мою часть. Теперь, после трех лет в роли гитлерюнге, проведенных в постоянной борьбе за выживание, я впервые почувствовал большую усталость. К тому же я должен был все начинать абсолютно с нуля, ориентироваться в совершенно новой для меня жизни.

Опять я оторвавшийся от дерева одинокий листок, увлекаемый порывами ветра, который не знает, где и когда он упадет на землю. Я был измучен и находился в полном отчаянии.

Очень хотелось спать.

Но у меня была искра надежды: как-то все образуется. Этого было достаточно для того, чтобы утром встать, поприветствовать новый день и начать жизнь заново.

Я вспомнил о жившей недалеко подруге. Раньше мы иногда вместе гуляли, и я решил ее навестить. Поднялся по лестнице и постучал в дверь. Прошло несколько минут, прежде чем открылась дверь и она осторожно высунула голову. Увидев меня, она обрадовалась, спросила, как мои дела, но извинилась, что не может к себе пригласить, так как у нее друг. Попросила меня прийти после обеда. Через полуоткрытую дверь я увидел на стуле брошенную униформу, понял, что мой визит не к месту, и ушел. Я был поражен и смущен: «Ты? И так быстро?»

Я решил после обеда навестить Лени и фрау Лач. Сначала я вернулся в мое убежище — покинутый лагерь. На территории встретил несколько поляков и русских. Один своим сопровождающим сказал: «Посмотрите на этого немца. Чего он тут ходит?» С угрозами и руганью они подошли ближе. Я попытался по-русски им сказать, что они ошибаются, что я не немец, а еврей. Но как они могли поверить Салли, все еще одетому в униформу Юппа? Они стали меня бить, но мне удалось убежать.

В центре города я намерен был получить в ратуше положенные мне продовольственные карточки. На центральной улице было полно народу, пробиться было трудно. Вдруг мой взгляд остановился на одном человеке, очень истощенном, с обритой голова и в одежде штрафника. Я к нему приблизился. На груди у него был треугольник с именем, под ним слово «еврей». Я посмотрел на него и продолжил свой путь. Через несколько шагов остановился. И я еврей, не так ли?! Кроме меня, выходит, остался тут еще один еврей?

Искра памяти о моем происхождении, никогда не гасшая, а только прикрытая от посторонних глаз, вспыхнула и подогрела меня. Я быстро обернулся и догнал мужчину, встал перед ним и горящими глазами посмотрел на него как на сверхъестественное явление.

С необыкновенной наивностью я его спросил: «Извините, пожалуйста, вы действительно еврей?» Он посмотрел на меня совсем не дружелюбно. Конечно, он не предполагал, что я тоже еврей — на мне же еще была униформа. Темные пятна на ткани не оставляли сомнения, что недавно там были проклятые и опасные знаки.

Как его убедить? Из дальних уголков моей памяти явились прекрасные торжественные слова, и я произнес: «Шма, Исраэль!»

Я чувствовал, что он мне поверил. Я обнял его и шепнул ему на ухо: «Я тоже еврей. Меня зовут Соломон Перел».

Этот момент был решающим. Вдруг я почувствовал, как во мне произошло изменение. Рушился чужой, навязанный мне мир. Я был у цели. Я положил голову ему на плечо… и заплакал.

Наконец полились слезы радости, а с нею и благодарности, и это придало мне силу. Мои чувства его захватили, и его глаза светились так же, как мои. Много для меня значил этот человек, Манфред Френкель из Брауншвейга. Он приехал из Аушвица, куда был транспортирован из гетто в Лодзи.

— Вы тоже были в лодзинском гетто? — спросил я его. — Может, вы встречали семью Перел?

— Да, — ответил он робко. Ответ меня не удовлетворил.

— Некоторое время я работал на товарном вокзале в Лодзи. В моей бригаде был один еврей Давид Перел.

— Так это же мой брат!

Я почувствовал, что сделал первый шаг на пути к своим близким. Но других подробностей он не знал. Я его немного проводил. Он был тем первым, кто мне рассказал об этом ужасном месте — Аушвиц, о газовых камерах, крематориях и прочих мерзостях.

Я молчал. Четыре года я жил среди них и ничего не узнал. Как я мог от себя скрывать, что возвещенная нам в школе цель уничтожить народ «тунеядцев и кровопийц» выполняется самым ужасным образом? Может, мои немецкие товарищи о том знали от своих родителей, но молчали? Знал ли наш учитель о происходящем в Аушвице? Почему на уроках не говорили об этом?

В те годы на улицах города я встречал бесчисленных рабочих. Они носили гражданскую одежду, и наложенные на нее заплатки указывали на их происхождение и тем отличали от прочих. Регулярно я смотрел в кино последние новости, но люди в одежде штрафников ни разу там не появлялись.

Можно предположить, что большинство немцев в Третьем рейхе догадывались о масштабе уничтожения, но никто никогда в разговорах со мной этой темы не касался. За все годы, что провел среди них, считаясь своим, никогда я не слышал ни тихих сплетен, ни малейшего намека на убийство. По радио, в газетах никогда не упоминали об «окончательном решении». Может, мои глаза и уши были тому закрыты?

Зато сведения о массовой гибели польских офицеров под Катынью[30] пропаганда Геббельса вовсю придавала огласке. «Как может мир так просто закрывать глаза на эту устроенную

большевиками кровавую расправу?» — возглашали убийцы миллионов людей. О своих собственных преступлениях они умалчивали. Только Манфред Френкель открыл мне глаза. В идеологической теплице, каковою была школа гитлерюгенда, я учил расовую теорию, но мой ум отказывался от мысли, что она уже применяется в разных лагерях смерти.

Глубокая боль, которую я по прозрении испытал, — с тех пор моя постоянная спутница. Столько раз ездил я через гетто в Лодзи — и не посмел догадаться, что его обитатели там не останутся, а будут отправлены в конвейер уничтожения!

Теперь вспоминаю, что среди них тогда видел только взрослых и ни одного ребенка. И это не вызвало у меня вопросов.

Система, в которую я был внедрен, с одной стороны, обостряла мой ум, а с другой — заглушала. Ночами, проведенными в полусне в оставленном бараке, я чувствовал себя глубоко удрученным. Лица всех освобожденных светились, они знали, что через несколько недель будут на родине, в своих городах и селах, где найдут дом и очаг и снова начнут нормальную жизнь. А я? Не было места, куда я мог бы пойти. Все было разрушено.

Я вспоминал Атикву[31] — гимн надежды, который я выучил в «Гордонии» в Лодзи и пел время от времени. Он меня утешал.

Однажды из соседнего барака я услышал голоса. Я туда подкрался и увидел двух советских девушек, склоненных над нарами. Они ухаживали за русским рабочим, который от чрезмерного желания выпить влил в себя огромное количество метилового спирта. Его внутренности горели огнем, и он потерял зрение. Мне было жаль беднягу. За освобождение он заплатил ужасную цену. С одной из девушек я был уже тайно знаком, когда еще работал в мастерских завода «Фольксваген», и на моей груди красовался значок ротного командира гитлерюгенда. Несмотря на запрет, несколько раз я с ней беседовал на русском языке. Ее славянская внешность произвела на меня впечатление, и те беседы тогда мне были очень приятны. Мы быстро выяснили, что можем говорить о прошлом, и сердечно встречались.

Все эти годы я бережно храню ее адрес: Тевлинский район, совхоз им. Карла Маркса, спросить товарища Чайку Галину Яковлевну. На память она мне подарила фотографию. Я намеревался ее посетить, как только установят дипломатические отношения между Израилем и Советским Союзом. Простился я с ней как немец Йозеф Перьел. А когда пришло время сказать правду… оставил ее при себе! До сих пор не знаю почему.

На минуту я заглянул к семье Лач и последний раз

встретился с Лени. О моей тайне она уже узнала от матери. Мы обрадовались, еще раз вместе прогулялись и попрощались. Кончилось время дружбы девушки из BDM с молодым человеком из гитлерюгенда.

Многие годы я переписывался с ее матерью, пока она не умерла. Лени стала балериной, вышла замуж за нашего общего друга Эрнста Мартина, который работал на гестапо. Они эмигрировали в Канаду.

Наступил день, когда я покинул Брауншвейг. Кроме тяжелых событий, там были и веселые дни, так что отношение к городу у меня осталось двойственное. Арену тайной борьбы я покинул победителем. Не забуду ни тяжких, ни приятных моментов. Брауншвейг я покидал взволнованным и будущее встречал полным мечтаний и надежд.

Я поехал в Пайне, на сей раз свободным человеком. Для того чтобы получить удостоверение личности с моим настоящим именем, я отправился в ратушу, где попросил выписку из книги регистрации гражданского состояния. Мою просьбу выполнили с особой вежливостью, освободили от уплаты пошлины. Я заставил себя улыбнуться чиновникам. Они, конечно, вспомнили семью Перел, но не решились спросить, что с нею стало.

Мои объяснения несколько приглушили болезненный конфликт с совестью, но не могли его разрешить. В конце концов и себя я счел жертвой преследований и отправился в комитет.

Учреждение это выглядело как склад одежды и продуктов первой необходимости. Создали его бывшие политические заключенные концлагерей, входили туда и те, кто выражал симпатию местным социал-демократам и коммунистам.

Я представился своим настоящим именем. «Что? Ты маленький Салли из семьи Перел? — с радостью спросил меня один из них. — Я помню тебя, мой дорогой. Я очень хорошо знал твоего отца». Не требуя доказательств, он предложил выбрать себе одежду. Я присмотрел очень симпатичную рубашку, новый костюм и другие вещи. Дали мне также большой пакет с продуктами. Через две недели после освобождения я снял, наконец, униформу и вступил в новую жизнь.

Я еще не знал, какие трудности там меня подстерегают. Я радовался новой жизни.

Мои разговоры с выжившими в концлагере проходили спокойно. Они попросили меня принять участие в организации другого городского бюро. Я с удовольствием согласился. Они намерены были восстановить список местных нацистских преступников и донести на них в специальные военные суды. Мы

также решили проследить судьбу еврейской общины в Пайне. Так мы узнали о трагической кончине секретаря местной ячейки коммунистической партии товарища Кратца. За несколько дней до окончания войны вместе с другими сотнями заключенных его загнали на старый корабль. Судно потопили, и все, кто на нем был, погибли.

Я пообещал принять участие в следующем собрании. Когда я уже собирался уйти, в комнату вошли два еврея. Они хотели вернуться на свою родину в Румынию. Они многое пережили в Берген-Бельзене, концлагере вблизи Целле. Это название впервые я услышал из их уст и от них же узнал о творящихся там ужасах. Я решил туда съездить и там спросить о своих близких. Я был счастлив видеть братьев по вере освобожденными и пожелал им всего хорошего в их новой жизни. Попрощался я со всеми в хорошем настроении.

Ушел я добротно одетым и с пакетами в руках. Мою черную униформу я без сожаления выбросил в первую попавшуюся помойку — она свое отслужила. Неужели моей двойной жизни таки пришел конец?

Опьяненный от счастья, шел я по старым улицам Пайне. Не так давно я гулял по этим мостовым, прятался в своей фуражке и отворачивался, чтобы не быть узнанным. Теперь взглядам прохожих я представал гордым и счастливым. Соломон Перел ожил. Несмотря ни на что, вопреки намерению нацистов меня уничтожить! Я парил в облаках. Как прекрасно пахла первая послевоенная весна после многих военных зим! Воздух наполнял аромат ландышей. В городе не было бомбардировок, и если бы не попадалась военная техника, можно было бы подумать, что город не пережил шестилетнюю войну, самую за все времена кровавую и разорительную.

Я зашел к Майнерсам. Нацистская эмблема над дверью исчезла. Я вошел в кафе. Чувствовалась другая атмосфера, только запах пива и табака остался тем же.

Я сидел за тем же столом, что и в прошлый раз, наблюдал за Теа и Кларой, слушал разговоры. Один из посетителей говорил, что Германия заплатила ужасную цену, и уверял, что не Гитлер самый большой военный преступник, а Черчилль, потому что он вздумал воевать с Германией…

Я решил не вмешиваться. Занят я был своими мыслями. На память пришли мое детство, горячие летние дни, тогдашние мои фантазии. Теа и Клара уже стали молодыми женщинами. Они работали быстро и точно. Ничего удивительного — пиво пили всегда, и чтобы отметить радость, и чтобы облегчить горе. Большинство столов и теперь было занято.

Я пробился к блестящему крану, чтобы наполнить кружку, и когда приблизился к Кларе, поздоровался с ней. Ответила она только из вежливости. Посмотрела на меня, потом на опавшую пену. Меня она не узнала. Я обратился к ней: «Я Салли, я вернулся в Пайне». Наливая пиво, она слушала меня удивленно, потом вышла ко мне и сердечно пожала руку. «Правда, ты Салли, мы десять лет не виделись!» Она улыбалась во весь рот. «Не совсем так, — ответил я — недавно ты подносила мне пиво». Она не поняла, и я обещал, что позже все ей объясню.

Она рассказала, что ее родители умерли год назад, а ее брата Ганса как офицера СС отправили в Англию, в лагерь военнопленных. Я почувствовал, что выражение радости от встречи не было у нее искренним. К нам присоединилась Теа, разговаривала она еще более сдержанно.

Я решил не оставаться. Было ясно, что «коричневые» годы оставили свои следы на обеих сестрах. Эта полная разочарования встреча не омрачила все же моей радости. Я покинул сестер Майнерс.

Через тридцать лет я снова их повидал с намерением до конца рассказать историю моего отчаянного прихода в их кафе. Я думал, им будет жаль, что они не узнали переодетого Салли. Но наткнулся на отчужденность.

Одна бывшая соседка, очень старая дама, предложила мне переночевать у нее. Я ее встретил, когда выходил из кафе, и вспомнил, что детьми однажды мы ее назвали «злая старуха с палкой». Я с удовольствием принял ее предложение. В ухоженной комнате, которую она мне предоставила, мне было очень комфортно. После продолжительного сна я почувствовал себя немного отдохнувшим.

На следующий день я проснулся счастливый тем, что начну новый день. Позавтракал с привлекательной старой дамой и вышел на улицу.

На вокзале купил билет до Целле, города после Берген-Бельзена. Путешествие было коротким, меньше чем через час я был у цели. Уже издали я увидел лагерь, постройку, кричаще чуждую окружающему ландшафту. Зеленые поля и украшенные цветами дома крестьян создавали мирную атмосферу. Может, я заблудился? Здесь ли, в этих ли местах олицетворения плодородия и спокойствия, находился страшный лагерь смерти? Подойдя ближе, я в этом не сомневался.

Я увидел огромные песчаные площади и на них ряды бараков. Надо всем стояло облако пыли. Много людей передвигалось в разные стороны, въезжали и выезжали санитарные машины и военная техника английской армии. Толпа захватила меня. Лица

у освобожденных узников были хмурыми — ни одной искры радости. Я услышал гул тракторов. Мне объяснили, что засыпают и равняют с землей многочисленные массовые могилы. Вдруг я услышал, как из толпы кто-то по-польски выкрикивает мое имя: «Залек! Залек!» Удивленный, я оглянулся. Передо мной стояли двое братьев Завадских. Они были примерно моего возраста и по сравнению с другими выглядели более опрятно. Я был первым из их знакомых, встреченных после освобождения. Они очень обрадовались. В наших воспоминаниях о детстве много было общего, я с удовольствием согласился несколько дней провести с ними в освобожденном лагере.

Мы направились к их бараку. Они предложили мне нары, которые накануне освободились после смерти одного мужчины.

Три дня, проведенные в Берген-Бельзене, я слушал их рассказы. Ужасные картины вставали передо мной. Горькую судьбу узников все время я сравнивал с тем, что пережил сам, и убедился, что в это ужасное время жизнь меня щадила. Теперь судьба у нас была общая. Я присоединился к выжившим, мы все находились в помещении без воздуха: без родины, без отца и матери. Мы не знали, скоро ли наше неопределенное положение сменится надежным и прочным. Чтобы излечиться от прошлого, нам всем нужен был солидный фундамент.

В Пайне я вернулся с твердым намерением продолжить поиски сведений о судьбе моих близких. Кое-какие известия вместе с несколькими фотографиями по возвращении я получил от бывшей подруги моей сестры. Новость о том, что один из детей семьи Перел благополучно вернулся в Пайне, разлетелась очень быстро. Многие приглашали меня в гости, некоторые думали, что я Давид, другие — что Исаак, но все меня принимали достойно. Большинство этих приглашений я отклонял. Навестил только тех, у кого остались фотографии моих родителей — до сих пор их храню.

Из чистого любопытства я даже принял приглашение на сеанс спиритизма — мне обещали, что известие о местонахождении моих близких я получу посредством контакта с духами умерших. Придя туда в условленное время, я понял, что сеанс назначили ради меня одного. Кроме медиума, в комнате находилось еще восемь человек. Натянутый как струна, я занял свое место за столом. Прежде подобными делами я никогда не занимался.

Двойные шторы задернули, и в комнате стало мрачно. На круглом столе располагались цифры, письма и разные карты, в центре стоял опрокинутый стакан. Мы расселись вокруг стола и скрестили руки над стаканом.

Воцарилось напряженное молчание. Прошли долгие минуты,

но никто не проронил ни слова. Вдруг медиум издал неясный лепет. Я испугался и все свои мысли сконцентрировал на своих близких. И тут стакан задрожал, завибрировал и стал двигаться. Именно так это и случилось. Никогда бы не поверил, если бы не увидал своими глазами. Стакан скользил в разных направлениях, потом слегка приподнялся, будто хотел преодолеть какую-то преграду. Наблюдал я за ним так внимательно, что даже вспотел. Когда стакан остановился, мы опустили руки, и один из участников раздвинул шторы. Вечерний свет проник в помещение. Никто не говорил ни слова, медиум тоже, что меня очень томило.

Через некоторое время медиум обратился ко мне: «Один из твоих близких родственников, чье имя начинается на букву Д, жив и находится очень далеко отсюда, может быть, на другом континенте». Тотчас я подумал: неужели жив мой брат Давид? С волнением и радостью я воспринял эту весть. От всего сердца я желал, чтобы это оказалось правдой. После сеанса поболтал с участниками. Все они жили в Пайне. Они мне сообщили, что еврейка фрау Фриденталь не покидала своего дома и выжила. А ее дочь Лотту, необыкновенно красивую девушку, обвинили в расовом преступлении и повесили.

Покидал я этих людей счастливым и сердечно их благодарил за такую трогательную встречу. Для меня было бы настоящим праздником, если бы весть о моем брате Давиде оказалась верной.

На следующее утро я навестил фрау Фриденталь. Увидев меня, она очень обрадовалась. Удивительно остроумная, она, казалось, пребывает в бодром здравии. Какая же широта души у этой женщины и какое мужество! Более двенадцати лет над ней висели проклятия и угроза смерти, но она выстояла, как непоколебимая скала в бушующем море.

Она предложила мне пожить у нее, но я сказал, что намереваюсь проехать через концентрационные лагеря, чтобы найти своих. Пожелал ей мужества, хорошего здоровья и пообещал снова зайти. Фрау Фриденталь переехала в Ганновер в дом престарелых и в 1978 году умерла, будучи уже в преклонном возрасте.

В одной из своих поездок я случайно встретил двух советских офицеров, они были в составе делегации из советской оккупационной зоны. Я обрадовался и поздоровался с ними на их языке. Представившись еврейским беженцем, попросил их помочь мне получить разрешение на транзитный проезд через Лодзь и Аушвиц. Они обещали мне поддержку и попросили поработать у них переводчиком — им следовало допросить выслеженных и

арестованных охранников из СС. У меня было желание с ними сотрудничать. Предложение я принял с восторгом — для меня это была возможность заполнить возникшую во мне пустоту. Я заехал в Пайне забрать свои вещи, и мы отправились в Восточную Германию, в Магдебург, где располагалась часть советских оккупационных войск.

Поездка в «мерседесе» мне нравилась, и я напевал «Атикву».

— Красивую песню поешь, Соломон Израилевич, откуда она? — спросил меня майор Петр Платонович Личман.

— Это еврейский гимн, — ответил я гордо.

— У евреев есть гимн? — удивился он.

— Конечно, даже флаг есть.

Я вспомнил время «Гордонии» в Лодзи. Удивительно, что ничего не забыл!

— Нам не хватает только земли, товарищ майор, — добавил я.

Тогда я и не думал, что через три года в мае будет провозглашено создание государства Израиль.

В советской зоне оккупации Германии в то время повсюду были пункты учета, где должны были зарегистрироваться все мужчины призывного возраста. Там проверяли, есть ли у них татуировка — знак принадлежности к СС. Тех, у кого ее находили, немедленно арестовывали. В одном из таких учреждений я и работал переводчиком. С той же ролью участвовал я и в переговорах между советскими начальниками и секретарями социал-демократической и коммунистической партий.

Советы намеревались их объединить, дабы тем способствовать образованию ГДР в Восточной Германии. Так возникла СЕПГ, Социалистическая единая партия Германии.

Вспоминаю один неприятный эпизод в переговорах между майором Личманом и высокопоставленным представителем церкви. Это произошло незадолго до Нюрнбергского процесса. Христиане, заявил церковник, подлежат Божьему суду, и кто раскаивается, может рассчитывать на прощение.

Личман был этим возмущен. «А простит ли им Бог, — спросил он, — убийство миллионов детей?» В ответ он услышал, что дети не от смерти страдают, только взрослые ее боятся; последних же Бог наказывает за их ошибки, а покаявшихся наставляет на правильный путь. После этого церковника просто выгнали.

Я не прекращал поиски родителей и писал во все возможные места, чтобы отовсюду собрать по ниточке. Одно из писем пошло

к подруге моей сестры в Пайне. Я сообщил ей о месте моего пребывания и попросил на случай, если появится в Пайне кто-то из моих близких, меня о том уведомить. Через несколько недель я получил ответ. Машинально вскрыл конверт, и, как только прочитал первые слова, меня охватила волна счастья. Она писала, что мой брат Исаак и его жена Мира недавно приезжали в Пайне. Мой брат Исаак жив! Я был опьянен радостью и счастьем. В письме было также сказано, что из гетто в Вильно его перевели в концлагерь Дахау, и там он был освобожден армией союзников. Теперь живет в Мюнхене. Я незамедлительно ему написал, чтобы он как можно скорее меня навестил, и добавил, что от всей души желаю его увидеть и имею возможность обеспечить ему с женой проезд через границу зоны. Ответ не заставил себя ждать. Исаак и Мира были в пути.

В пограничном городе мы увиделись, потрясенные и счастливые. Мама, папа, вы слышите? Ваши благословения и молитвы осуществились… «Вы должны жить!» — был ваш наказ, и вот мы здесь. Безграничным было мое счастье, когда Исаак сказал, что наш брат Давид жив и уже находится в Палестине. Я заплакал.

Узнал я и о судьбе моей сестры Берты. Перед роспуском гетто в Вильно ее вместе с Мирой отправили в женский концлагерь Штуттхоф недалеко от Данцига, а Исаака — в концлагерь Дахау. В 1944 году русский фронт приблизился, и лагерь тогда перевели в Равенсбрюкке. Начался так называемый «марш смерти». Наступил страшный мороз. Берта обморозила ступни. Мира изо всех сил пыталась ей помочь, но ее отчаянная попытка спасти мою сестру была безуспешной. Берта больше не могла идти дальше. Ее застрелили в затылок. Мира видела, как кровь у нее изо рта потекла на белый снег. О Господи, как ужасно об этом писать!

Потом на служебной машине мы отправились на виллу Личманов. Жена майора Мария Антоновна устроила нам прием, достойный события. Из подвала было принесено прекрасное старое вино, и мы осушили бутылку за бутылкой. Мы праздновали спасение оставшихся в живых.

Несколько часов мы говорили о прошлом и настоящем. Исаак рассказывал нам о вооруженных боях в Палестине против англичан и за беспрепятственную иммиграцию. Эти новости имели для меня большое значение.

Я чувствовал: во мне начинает расти какое-то большое чувство. Но еще не обращал на это внимания. Впервые я подумал о Палестине.

Мира была на последнем месяце беременности и должна была вернуться в Мюнхен. Мы простились, но решили вскоре снова встретиться. Через несколько дней я получил открытку с сообщением, что Мира подарила жизнь девочке Наоми.

Летом 1947 года я стоял на распутье. Меня вызывали в советскую комендатуру в Берлине-Карлсхорсте. Гражданский служащий вежливо меня принял. Так как я в качестве переводчика заслужил хорошие отзывы, он мне предложил поступить в кадровую школу в Советском Союзе. При этом выразил надежду, что по окончании учебы я буду играть активную роль на службе в советском оккупационном ведомстве. На душе было неприятно: еще один специнтернат! Опять вести двойную игру, жить под вымышленным именем… Нет, такая перспектива меня не радовала. Я обещал подумать, взвесить все за и против и по возможности быстро дать ответ.

Я вернулся к себе и закрылся. Итак, у меня две возможности: провести несколько лет в Советском Союзе, где мне многое обещано, да неизвестно, как исполнится, — или присоединиться к своему выжившему брату, чтобы посвятить себя строительству и развитию государства, где я буду у себя дома.

Стена рухнула. Вторая возможность вытеснила первую. Какие ни обещай мне блага, ими не превозмочь тоски по близким и по своей стране.

Земля горела у меня под ногами. О своих планах я оповестил Альфреда, шофера Личмана.

Два дня мне понадобилось, чтобы урегулировать всякие дела, и на следующий мы собрались на прощание. Нам всем было грустно.

Поздним вечером за мной заехал Альфред. Мы двинулись в направлении границы, и он мне показал проход на запад. Поездом я прибыл на разрушенный, но полный людьми Мюнхенский вокзал. Взял такси в пригород Фрейман, весь в зелени и цветочных садах. С бьющимся сердцем позвонил в дверь дома 18 на улице Штернвег.

Дверь открыл мой брат. Он был поражен. Взволнованные и счастливые, мы обнялись. Я долго держал в объятиях его жену Миру, а потом приблизился к кроватке. Я никогда не забуду симпатичное смеющееся личико маленькой Наоми и ее светлые локоны. После того как меня покормили, я ответил на робкие вопросы брата и его жены. Мое решение пришлось им по душе. Впервые после того, как покинул своих родителей, снова я себя почувствовал дома и в семье. Душевное напряжение последних лет постепенно спадало. Я привыкал к моей новой жизни.

Теперь я мог полагаться не только на себя — Исаак был мне

вместо отца. Работал он в редакции еврейской газеты «Ibergang», издававшейся в Мюнхене, тексты печатались на идише латинскими буквами. Несколько сотрудников редакции, пережившие концлагерь Дахау, время от времени приходили к нам и рассказывали о своем ужасном опыте.

В тех разговорах я не участвовал, но слушал потрясенный и вне себя. Моя катастрофа оставалась в тайне. И неуютно я чувствовал себя из-за того, что их участи я с ними не разделил. Груз на сердце я держал при себе. Но однажды кто-то из них меня все-таки спросил о том, как я пережил военное время. Едва я смог открыть рот. Все во мне сопротивлялось тому, чтобы рассказать свою историю.

Большинство не хотели верить, а один даже счел мой рассказ выдумкой. Тогда я им обещал предоставить живое доказательство. С разрешения жены Исаака я пригласил на кофе моего мюнхенского друга Отто Цогглауэра.

В конце 1947 года в Мюнхене открылась школа ОРТ[32] — изначально филантропически-просветительская организация по распространению и поощрению среди евреев России квалифицированного профессионального и сельскохозяйственного труда; с 1921 г. — всемирная еврейская просветительская и благотворительная организация, и я записался на курсы точной механики. Мне помогли знания, полученные в спецмастерских завода «Фольксваген». Учился я почти весь семестр. А когда узнал о наборе добровольцев в Хагану[33], с бьющимся сердцем записался в их ряды. Впервые я услышал, как сотрудники Хаганы друг с другом говорят на иврите. Я был очень растроган и сожалел, что не понимаю ни слова. Формальности, связанные с набором, быстро были улажены, и дату отправки назначили на ближайшее время.

По радио я слышал сообщения об успешных действиях еврейских бойцов в Палестине. С нетерпением я ждал дня отправки и участия в борьбе. На сей раз мне предстояло вдохновенно и убежденно бороться не против своей воли, не в рядах врагов, но за мой народ, мою родину, за себя.

Разрешение на поездку я получил через два дня после того, как Тель-Авив объявил независимость[34]. Я покинул Исаака, Миру и Наомиле, которую я так полюбил, и высказал надежду как можно быстрее к ним приехать.

Большой, крытый брезентом грузовик доставил нас в гавань Марселя.

Несколько недель мы находились в лагере Сент-Жермен, а в темноте июльской ночи 1948 года на корабле «Сан Антонио»

отправились в Хайфу.

Уже не помню, сколько дней мы провели в море, но мне казалось, что вечность. Нам очень хотелось прибыть, наконец, на место, да и условия на корабле были непростые. Однажды в солнечный день раздался крик радости: «Израиль на горизонте!» Потрясенные, мы бросились друг другу в объятия. Мой сопровождающий Элиягу Бен-Йосеф, мой верный друг, бросился мне на шею, и мы заплакали от радости.

Выгрузились мы вблизи гавани Хайфы, грузовик доставил нас в военный лагерь Бет-Лид. Там нас призвали на военную службу. Мы принесли присягу государству Израиль и получили 48 часов отпуска. Я поспешил в Тель-Авив повидать своего брата. Исполнилось-таки предсказание медиума из Пайне. Счастливый, я стоял перед моим братом, радость наша была безграничной. В углу комнаты стояла детская кроватка, где играл Азриель, первый внук наших родителей.

От Давида и его жены Полы я узнал об их трагическом конце. Папа умер от голода и слабости и похоронен на еврейском кладбище в Лодзи. Давид и Пола его провожали в последний путь. В 1989 году я посетил кладбище и нашел там его могилу. Покинул я отца в четырнадцать лет, а встретился с ним, покойным, в шестьдесят четыре. Маму в 1944 году вместе с другими погрузили в закрытый грузовик и во время поездки отравили выхлопным газом. Так она погибла и была брошена в массовую могилу близ Лодзи. Давид и Пола оставались среди последних восьми тысяч обитателей лодзинского гетто и после освобождения Красной армией через Италию выехали в Палестину.

Два дня отпуска прошли быстро, и я вернулся в военный лагерь Бет-Лид. В автобус израильской транспортной компании «Эгед» мы сели после того, как привыкли к нестерпимой жаре и высохшему колючему кустарнику. По дороге со множеством поворотов мы добрались до оккупированного Иерусалима. Там я стал солдатом 68-го полка Иерусалимской дивизии под руководством Моше Даяна[35].

В моей жизни открылась новая глава.

«Вы должны жить…»

Ну вот, вы прочитали мою историю. И вы будете задавать вопросы, которых я когда-то боялся, которые меня парализовали и долгое время мешали мне рассказать эту историю. И вот она перед вами — и теперь я открыт всем вопросам. Теперь я ожидаю от своей повести намного больше пользы, чем в начале, когда

начал писать ее в целях самотерапии. Когда я начал в 1988 году писать, не представлял, что моя повесть окажется актуальной. С тех пор со многими я дискутировал и спорил. И впредь буду — потому что это лучшая возможность держать нашу память живой. Она же действенный оплот против коричневой опасности.

Я, еврей Салли, знаю, кто такие наци, — знаю по жившему внутри меня долгое время Юппу. Я допускаю привлекательность этой идеологии для пятнадцати-шестнадцатилетних. На одной встрече в школе несколько юнцов весело захлопали, когда я рассказывал о событиях 1 сентября 1939 года. Я спросил у них, а чему они так радуются? И рассказал не только об ужасах нацистского террора во Второй мировой войне, но прежде всего о Юппе. Они должны знать, насколько заблуждаются. Надеюсь, что они меня поняли. Нынешняя молодежь не отвечает за преступления нацистов, но кто ответит, если они снова поднимут голову?

Во время одной дискуссии в Берлине была встреча другого рода. Один элегантный пожилой господин несколько раз пытался взять слово, и после того как ему очередной раз отказали, он, очевидно, потерял смелость. И все-таки медленно поднялся, лицо его было напряжено, а взгляд направлен в себя.

Из его уст мы услышали тайну, хранившуюся десятилетиями. Он, еврей примерно моего возраста, был спрятан от нацистских сыщиков в маленькой комнате крохотной квартиры. Дрожащим голосом мужчина рассказывал, как он, будучи тем мальчиком, стоял за шторой и со страхом и ужасом наблюдал за маршем гитлерюгенда. Чем дольше он находился в этой комнате на нескольких квадратных метрах, без контакта с внешним миром, тем сильнее становились его муки. И все чаще он мечтал стать гитлерюнге. В зале царило молчание и смущение. Вы, обратился мужчина ко мне, вы своими признаниями вынудили рассказать мою историю. До встречи с вами я бы не смог признаться в этом.

После встречи, как это часто бывало, выстроилась очередь за автографами. Один старик держался несколько в стороне, у противоположного края маленького стола, на котором я подписывал на книгах свои инициалы и сердечный шалом. Когда я поднял глаза, то увидел, что у него в руках моя книга. На вид ему было больше восьмидесяти. И я его пропустил без очереди. Но он отказался и дал мне понять, что он хочет позже со мной поговорить с глазу на глаз. Он терпеливо ждал. Когда мы наконец оказались наедине, он тихим голосом сказал, что был высокопоставленным офицером СС. И в этот вечер я ему послан Богом как возможность попросить прощения. Чего он искал? Действительно ли прощения — или, скорее, понимания?

Нельзя забывать о тех преступлениях, и нет им прощения. Но я не мстителен, и его признание у меня вызывает уважение. Но действенным оно станет, дал я ему понять, если вы публично расскажете обо всем, что вы тогда видели и в чем принимали участие. Вы должны это описать, не скрывая никаких ужасов. Только так сможете воспрепятствовать возрождению нацизма.

Скромным вкладом в это противостояние смею считать и свою книгу. Пусть ужас и абсурд пережитого мною станут понятны и вам, мой читатель!

ОРТ («Общество распространения ремесленного и земледельческого труда среди евреев в России») было основано в 1880 г. в Санкт-Петербурге с целью обучения евреев черты оседлости наиболее востребованным в то время профессиям. Оно не прерывало своей благотворительной деятельности на территории Российской империи, а затем СССР вплоть до 1938 г., когда советское правительство разорвало с ним договор.

Организация получила статус международной в 1921 г., когда был создан Всемирный союз ОРТ. Начиная с 1930-х гг. и на протяжении всей Второй мировой войны, а также после ее окончания курсы профессиональной подготовки ОРТ помогали евреям Европы выжить и начать новую жизнь после войны. В одном из училищ, созданных после войны для уцелевших в Катастрофе евреев, начинал новую жизнь автор этой книги.

Сегодня Всемирный ОРТ — это одна из крупнейших международных образовательных организаций, имеющая опыт работы в более чем 100 странах мира. В 1991 г. ОРТ вернулся в страну основания и активно включился в возрождение еврейской жизни. В учебных центрах и школах ОРТ в Армении, Беларуси, Грузии, Латвии, Литве, Кыргызстане, Молдове, России, Украине и Эстонии ежегодно обучаются более 30 000 человек. Одним из важных направлений деятельности ОРТ является разработка и поддержка различных проектов, способствующих более глубокому пониманию и изучению истории и наследия еврейского народа.

Издание русского перевода автобиографической книги известного израильского писателя и общественного деятеля Соломона Переля — это еще один вклад ОРТ в сохранение памяти о жертвах Холокоста: о тех, кто погиб, и о тех, кто выжил и может рассказать нам свою историю.

notes

Примечания

1

Веймарская республика — принятое в историографии наименование Германии в 1919–1933 годах — *Здесь и далее примеч. ред.*

2

Нюрнбергские расовые законы — два расистских (в первую очередь антиеврейских) законодательных акта — «Закон о гражданине рейха» и «Закон об охране германской крови и германской чести».

3

Бар мицва — термин, применяющийся в иудаизме для описания достижения еврейским мальчиком религиозного совершеннолетия.

4

В 1492 году по эдикту правящей королевской четы Фердинанда II Арагонского и Изабеллы Кастильской всем евреям Испании было предписано в трехмесячный срок либо креститься, либо покинуть пределы страны; оставшиеся после этого срока объявлялись вне закона. Для евреев изгнание стало национальной катастрофой.

5

Война 1947–1949 гг. между еврейским населением Палестины, а впоследствии вновь созданным государством Израиль и армиями соседних арабских государств и нерегулярных арабских военных формирований.

6

Фольксдойче — обозначение «этнических германцев» до 1945 года, которые жили за пределами Германии. В отличие от «рейхсдойче» («германцев рейха»), принадлежность к «фольксдойче» устанавливалась по отдельным признакам — по «семейной истории» (были ли родители немцами), по немецкому языку как родному, по имени, по церковным записям и т. п.

7

Воинское звание «гауптман» в немецкой армии соответствовало званию капитана в Советской армии.

8

Автор ошибается. Один из самых известных плакатов времен культа личности — плакат с фотографией Сталина, который держит на руках девочку. На руках вождя сидит Геля Маркизова — бурятская девочка, символ благодарности за счастливое детство.

9

Песах — центральный иудейский праздник в память об Исходе из Египта.

10

Мицва (мн.ч. мицвот) — предписание, заповедь в иудаизме. В обиходе мицва — всякое доброе дело, похвальный поступок.

11

Шабат — суббота, седьмой день недели, в который Тора предписывает воздерживаться от работы.

12

Самоходная мина «Голиаф» — наземная гусеничная самоходная мина. Танкетка без экипажа, управляемая по проводу на расстоянии. «Голиаф» был одноразовым, так как он предназначался для самоликвидации.

13

Хрустальная ночь (Ночь разбитых витрин) — погром евреев во всей нацистской Германии и части Австрии 9-10 ноября 1938 года, осуществленный военизированными отрядами СА и гражданскими лицами. Нападения привели к тому, что улицы были покрыты осколками стекла из окон принадлежавших евреям магазинов, зданий и синагог.

14

Симхат Тора — праздник в иудаизме, который следует после Суккот. В этот день завершается годичный цикл чтения Торы и сразу же начинается новый цикл. Симхат Тора — один из самых веселых праздников еврейского календаря.

15

Мохель — специалист по обрезанию.

16

План «Мадагаскар» — разрабатывавшийся в Третьем рейхе план по депортации евреев из Европы на остров Мадагаскар.

17

Вилкомир — польское название литовского города Укмерге, расположенного в центральной части Литвы.

18

Национал-социалистическое объединение «Сила через радость» (нем. Kraft durch Freude, KdF) — в нацистской Германии политическая организация, занимавшаяся вопросами организации досуга населения рейха в соответствии с идеологическими установками национал-социализма.

19

Союз немецких девушек (нем. Bund Deutscher Mädel, BDM, или BdM) — женская молодежная организация в нацистской Германии, молодежное и детское женское движение в составе гитлерюгенда, куда входили немецкие девушки в возрасте от 10 до 18 лет.

20

Берген-Бельзен — нацистский концентрационный лагерь, располагавшийся в провинции Ганновер (сегодня — на территории земли Нижняя Саксония) в миле от деревни Бельзен и в нескольких километрах к юго-западу от города Берген.

21

«Вольфсшанце» (Волчье логово) — главная ставка фюрера в лесу Герлиц недалеко от города Растенбурга в Восточной Пруссии.

22

«Гордония» — сионистское молодежное движение, руководствовавшееся идеями Аарона-Давида Гордона и названное в его честь.

23

Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России) — еврейская социалистическая партия, действовавшая в западной части Российской империи, а позднее на оккупированной вермахтом части СССР в 90-х годах XIX века — 40-х годах XX века.

24

По разным оценкам, в лагере смерти Треблинка было убито от 750 до 810 тысяч человек. Подавляющее большинство жертв (99,5 %) были евреями из Польши, около 2 тысяч — цыгане.

25

Артур Рубинштейн — выдающийся польский и американский пианист и музыкально-общественный деятель.

26

Комедийный дуэт «Джиган и Шумахер» (в составе Шимона Джигана и Израиля Шумахера) был создан в конце 30-х годов XX столетия и просуществовал до 1961 года.

27

Общество противовоздушной и противогазовой обороны (Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej) — польская массовая военизированная организация.

28

Аушвиц-Биркенау — комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940–1945 годах около польского города Освенцим.

29

День Катастрофы (ивр. Йом ха-Шоа) — национальный день памяти и траура в Израиле и за его пределами, установленный Кнессетом в 1951 году. День, в который по всему миру вспоминаются евреи, ставшие жертвами нацизма во время Второй мировой войны.

30

Катынский расстрел — массовые убийства польских граждан (в основном пленных офицеров польской армии), осуществленные весной 1940 года сотрудниками НКВД СССР.

31

Атиква (*ивр.* надежда) — популярная в начале XX века песня, гимн сионистского движения. Атиква выражает надежду еврейского народа на возвращение на землю своих предков, как было предсказано в Библии. После образования государства Израиль Атиква де-факто стала гимном Израиля.

32

ОРТ (аббревиатура от Общество ремесленного труда, позже от Общество распространения труда; полное первоначальное название — Общество ремесленного и земледельческого труда среди евреев в России).

33

Хагана — еврейская сионистская военная организация в Палестине, существовала с 1920 по 1948 год во время британского мандата в Палестине. Британские власти наложили на деятельность Хаганы запрет, однако это не помешало ей организовать эффективную защиту еврейских поселений. С образованием еврейского государства стала основой Армии обороны Израиля.

34

Еврейское государство было провозглашено 14 мая 1948 года в здании музея на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве, за один день до окончания британского мандата на Палестину.

35

Моше Даян — израильский военный и государственный деятель. Министр обороны Израиля во время Шестидневной войны 1967 года.